

Честь имею. Том 2

Автор:

Валентин Пикуль

Честь имею. Том 2

Валентин Саввич Пикуль

«Честь имею» – многоплановый, остросюжетный роман, оригинальный по своему композиционному построению. Действия в нем происходят в разных исторических плоскостях, охватывая промежуток времени с 80-х годов XIX века до конца Второй мировой войны. Главный герой – офицер Российского Генерального штаба, ставший разведчиком и волею судьбы оказавшийся свидетелем политических интриг империалистических кругов, заинтересованных в развязывании Первой мировой войны. Читателя не оставит равнодушным яркий образ героя, для которого превыше всего честь, долг, патриотическое служение Отечеству.

Валентин Пикуль

Честь имею. Исповедь офицера Российского Генштаба. Том 2

© Пикуль В. С., наследники, 2008

© ООО «Издательство «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

* * *

Часть вторая. Живу, чтобы служить

Глава третья. Париж был спасен

Вздувается у площади за ротой рота,

у злящейся на лбу вздуваются вены.

«Постойте, шашки о шелк кокоток

вытрем, вытрем в бульварах Вены...»

Вл. Маяковский

НАПИСАНО В 1941 ГОДУ:

...узнал гораздо позже. В греках не умер дух прежней Эллады, они сами перешли в наступление, и столь удачно, что гнали легионеров Муссолини, отвоевав у него даже часть Албании. Дуче психовал, замерзая в своем Палаццо-Венеция, когда вдруг начался обильный снегопад. Распахнув окна, Муссолини неистовствовал: «Пусть идет снег! Пусть от мороза передохнут все мои бумажные итальянцы, пусть выживут лучшие представители нашей расы, способные побеждать!» Об Эфиопии-Абиссинии все уже перестали думать, – и вдруг 6 апреля босяки-партизаны, учинив разгром итальянцам, изгнали их из Аддис-Абебы – факт ошеломляющий, ибо в пору громких побед фашизма Муссолини опять получил по зубам, и... где?

Гитлер держал войска в Болгарии, моторы его панцер-дивизий алчно сосали румынскую нефть. Англия послала в Грецию новозеландские и австралийские войска, но... что толку с двух дивизий? Балканы в тревоге. Королем Югославии был тогда малолетний Петр II (сын Александра, убитого в Марселе), а повелевал страню принц-регент Павел – тот самый, что в костюме Пьеро когда-то дурачился с бубном на карнавале в русском посольстве. Павел решил включить Югославию в гитлеровскую систему, но за это желал получить греческие

Салоники. В марте 1941 года он тайно посетил Гитлера в Берхтесгадене, после чего был подписан протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту.

Скрыть предательство от народа не удалось, и сербы ответили восстанием, демонстрации двигались мимо королевского конака, люди истошно выкрикивали в слепые окна:

– Лучше война с Гитлером, нежели пакт с ним! Верните страну к союзу с Россией, как делали наши деды и прадеды...

Павел был удален из конака, а королем провозгласили Петра II, которому исполнилось семнадцать лет. Москва предложила Белграду договор о дружбе, и эта дружба, памятная в истории, была бы согрета былыми традициями, скрепленная общей кровью «побратимов», какими всегда были сербы и русские.

Хронология событий потрясающая: 5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе Югославии с СССР, а на следующий день, 6 апреля, немецкие бомбы разворотили Белград столь варварски, что город померк в пожарах; немцы с особым садизмом бомбили Сараево – город, в котором родилась Первая мировая война... Свершая нападение на Югославию, Гитлер никак не «блеснул гением», повторив те же положения ультиматума Сербии, которые в 1914 году предъявила славянам и монархия Габсбургов. На четвертый день войны армия сербов была разгромлена. Петр II улетел в Каир, словно отрешаясь от прав Карагеоргиевичей на престол в белградском конাকে. Южные славяне, столько веков страдавшие под гнетом османлисов и Габсбургов, теперь раздавлены и смяты пятою Гитлера...

Вся эта трагедийная информация о Балканах свалилась на меня позже, и не сразу мне стало известно это короткое имя – Тито! Изолированный от мира, я с большим опозданием освоил обстановку в нашей стране. Конечно, тогда я был лишен возможности раскрыть «Правду» от 14 июня 1941 года, где было опубликовано странное и непонятное коммюнике ТАСС, в котором Хозяин перед всем миром расписывался в добрососедских отношениях с Германией, будто она, эта Германия, собирает свои войска в Польше не ради нападения на Россию...

А тогда, простите, ради чего она собирает войска?

Документ невежественный и трусливый, мое отношение к нему самое отвратительное. Никто не переубедит меня в том, что это позорное заявление ТАСС пагубно отразилось на армии, деморализуя ее. Командиры и рядовые стали думать, что пришло время расслабиться, ибо там, наверху, Хозяин со своей легендарной трубкой в руках не спит по ночам, и он мудро-спокоен, зная то, что неизвестно другим олухам, не посвященным в тайны его Большой Политики.

Возникла преступная потеря бдительности, зато появилась пассивность. Дело дошло до того, что командиры стали ночевать по частным квартирам, а в казармах раздевались на ночь, благодушничая. Между тем, словно в насмешку над нашим разгильдяйством, в германском посольстве открылась фотоэкспозиция, дабы посетители убедились своими глазами: вот что осталось от Белграда, а вот и победный марш вермахта, вступающего в Афины...

О, эти Балканы – старая боль в моем стареющем сердце!

.....

Я сидел в одиночке и за время отсидки научился экономить каждую спичку, деля ее на четыре продольные спичечки с малюсенькой серной головкой каждая. Очевидно, со мною не знали что делать, ибо советского генерала разведки, верующего в господа бога, трудно оформить по статье «троцкистско-зиновьевского блока», а когда не найти вины человека по 58-й статье, тогда его лучше всего расстрелять, чтобы он сам не мучился и не мучились его следователи[1 - Очевидно, автор мемуаров был арестован вместе с А. Д. Лактионовым, командующим войсками Прибалтийского военного округа; тогда же была репрессирована большая группа военных, уцелевших после 1937 года. Часть из них – по решению Сталина – была возвращена, как маршал К. А. Мерецков, на свои посты, а другая часть вместе с их женами была расстреляна в октябре 1941 года.].

Получивший клеймо «враг народа», я охотно признал себя «тайным агентом германского фашизма», тем более что я ведь действительно поставлял «дезу» немецкому абверу и установил прямые контакты с Целлариусом в Прибалтике, – что тут было скрывать? Но вскоре следователь, укрывший свое поганое нутро под псевдонимом «Шлык», оставил в покое мои личные услуги фюреру, настойчиво вынуждая меня признаться в том, что я был «агентом британского империализма». Чтобы сделать этому дураку приятное, я легко подмахнул протоколы допроса.

– Вижу, что вы меня раскололи как следует, – сказал я. – Потому решил сделать добровольное признание... Пишите. Я за деньги продался еще разведкам Эквадора, Гондураса и Гватемалы, заодно уж моими услугами пользовалось княжество Монако, обещавшее мне долю дохода с рулетки...

Шлык, потея от радости, вел протокол, прося меня говорить не так быстро, а то он не успевает записывать. Он даже устал, бедняга, и, наверное, стал сомневаться:

– А чем вы можете доказать свои показания?

– А вот это уж не моя забота, – отвечал я. – Вы на то здесь и посажены, чтобы доказывать даже недоказуемое... Я вас понимаю: надо бить своих, чтобы чужие боялись!

В свободное от допросов время я много читал, беря из тюремной библиотеки книги, которые нельзя было прочитать на воле. Так я проглотил залпом всю «Русь» Пантелеймона Романова и увлекся изучением этюда Мережковского о Достоевском. Кстати, Достоевский у нас был на полузапрете, объявленный вредным писателем, и мне вспомнилось, что Геббельс считался в Германии большим знатоком «достоевщины». Может, именно это и дало ему сильное оружие для целей своей пропаганды, построенной на хорошем знании психологических перегибов людской совести. Подумав об этом, я заказал в библиотеке две книги: «Психология толпы» француза Г. Лебона и «Преступная толпа» С. Сигиле, тоже француза, которые до крайних пределов разили теорию стадной управляемости народных масс, покорно следующих за преступной, но сильной личностью. Странно, что этих книг не выдали на руки. Следовательно – в ответ на мой протест – советовал заказать для прочтения популярный роман Николая Шпанова «Первый удар».

– Эту книгу, – сказал он, – одобрил сам товарищ Сталин, и сейчас все краскомы и все красноармейцы обязаны изучить ее... такие книги мобилизуют массы в нужном направлении. Автор толково показал, как немецкий пролетариат, вооруженный могучими идеями Ленина – Сталина, сам свергает неугодный режим, а все немцы вступают в партию большевиков.

– Благодарю, – отвечал я, – но с этим романом уже знаком, прочтя его с неслыханным удовольствием...

После 22 июня 1941 года допросы прекратились. Шлык пожелал видеть меня лишь в конце месяца, и я с трудом узнал его – так он переменялся, посеревел лицом, и без того серым от беспощадного курения папирос «Казбек». Мне эту паскуду было не жалко, хотя я не мог угадать причины его подавленного, угнетенного состояния. Черт меня дернул сказать:

– Вам не кажется, гражданин Шлык, что скоро мы можем поменяться местами?

– Почему? – удивился он, даже растерянный.

– Потому что вы уже неспособны к работе, и вам, кажется, будет полезно общение с врачом в кабинете невропатологии.

Шлык запустил в меня тяжелым пресс-папье.

– Ну, ты... гнида старая! – заорал он, хотя прежней уверенности в его голосе я не заметил...

Этого следователя я больше никогда не видел, а при встрече с ним на том свете плюнул ему в похабную морду. Допросы прекратились, но кормить стали лучше. Я получил целый коробок спичек, не изнуряя себя расщеплением каждой на четыре доли. Однажды вечером меня в камере навестил молодой полковник НКВД, благоухающий одеколоном «Красная Москва», за ним надзиратель внес в камеру чернила с пером и большую стопку бумаги.

– Нет, допроса не будет, – утешил меня полковник. – У меня к вам разговор иного рода. Представьте себе, что на нашу страну вдруг напало некое государство Европы... Что бы вы, старый опытный генштабист, предложили сделать для борьбы с ним? Изложите свои размышления на бумаге.

Я сразу отказался от этой страшной затеи:

– Я не извещен, что творится в мире, и прежде всего должен бы знать, какое государство напало на Россию? Назовите мне противника, тогда получите и мой ответ. Но я догадываюсь, откуда пришла война...

Полковник удалился, чтобы вернуться на следующий день, и был намного откровеннее, нежели вчера:

– Нет смысла скрывать вероломное нападение Германии, наши войска отступают по всему фронту, и не в лучшем порядке... Нами оставлены многие города, под угрозой нашествия даже Киев – мать городов русских. Мне поручено узнать ваше мнение, что бы вы предприняли для противоборства?

Бояться мне было нечего, я отвечал честно:

– Сначала я бы убрал наркома Тимошенко с его высоким самомнением о своих талантах, убрал бы из области вооружения Кулика и всех прочих куликов, много взявших власти на нашем болоте. Я бы выпустил из тюрем всех репрессированных «врагов народа», специалистов военного дела и конструкторов оружия, а меня, – заключил я, – можете оставить в этой камере, ибо я сейчас уже мало пригоден для общего дела.

– Тимошенко уже нет, – ответил полковник, – как нет и многих куликов, а наркомом обороны назначен сам товарищ Сталин... Как вы мыслите борьбу с немецкой разведкой?

– Работа абвера совершенна, – отвечал я. – Сейчас, пока мы с вами беседуем, в Германии гребут горстями наших доморощенных Штиберов и Лоуренсов, все достоинство которых едино лишь в том, что в школе они сдали экзамены по немецкому языку на круглые пятерки и были весьма активны на комсомольских собраниях...

Меня избавили от неволи 22 июля – как раз в тот день, когда немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Передо мною извинились, сославшись на «обстоятельства».

– Ваши извинения принимаю, – был мой ответ. – В конце концов можно понять: я дворянин и бывший генерал царской армии, мои понятия о чести не всегда схожи с вашими. Но вы никогда не сможете объяснить мне, почему «врагами народа» стали сыновья крестьян и рабочих, делавших революцию?..

И вот я снова в пустой затхлой квартире. Ночью прослушал немецкое радио. Боже, что творилось в эфире... какая свистопляска... как издевались над нами! Я

плакал...

.....

Страшнее страшного страха было сокрытие правды. Власти утаивали от народа свой позор – Минск немцы взяли на шестой день войны, а по радио у нас сообщали о жестоких боях на Минском «направлении» (понимай как знаешь). 3 июля Хозяин заявил по радио, что лучшие дивизии врага разбиты, танки и авиация противника нашли могилу в нашей земле. И чем дальше на восток продвигался вермахт, тем все более миллионов немцев «убивало» Совинформбюро в своих кабинетах; иногда даже казалось, что в Германии давно не осталось людей, все уже давно похоронены нами...

Когда я снова появился в разведотделе Генштаба, меня встретили очень дружелюбно, сослуживцы наперебой спешили сказать мне, что они всегда верили в мою честность.

– Сейчас, говорят, будет издан указ о праве ношения царских боевых орденов, полученных за войну с кайзеровской Германией... Много у вас таких?

– Больше, чем у вас советских, – отвечал я...

Однако в разведке меня использовали, скорее, в роли «консультанта», а затем в том же амплуа перевели ради «укрепления кадров» в Радиокомитет, занятый тем, чтобы пропаганде Геббельса противопоставить свою контрпропаганду. Возглавлял эту архисложную работу Дмитрий Алексеевич Поликарпов, и я, не будучи знаком с ним ранее, был приятно удивлен, встретив в этом партийном деятеле человека умного и честного. Он всегда говорил со мною на пределе откровенности, что и позволяло мне отвечать ему тем же.

Здесь уместно дельное примечание. Со времен библейской давности народы мира, не надеясь только на грубую военную силу или разум своих правителей, всегда дополняли их важным фактором психологического давления на общественное мнение противников. К сожалению, наша страна оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы бороться с Геббельсом и его компанией, уже имевшей большой опыт в демагогии, признаюсь, я не раз удивлялся, как искусно в Берлине отмывали черного кобеля добела. С тотальным государством вообще труднее бороться.

И не все в нашей контрпропаганде мне нравилось. Помню, когда немецкие коммунисты, живущие в Москве, составили первую листовку, обращенную к гитлеровским солдатам, ее отнесли – ради проверки – Льву Захаровичу М[ехлису], заседавшему в высоких инстанциях. Этот авторитетный товарищ, запросто вхожий к Хозяину, всю листовку снабдил множеством грубейших ругательств по адресу Гитлера, призывая немецких солдат сразу бросать оружие и сдаваться в плен, пока не поздно, иначе им худо будет... Помню растерянность Вильгельма П[ика], увидевшего свое творение в искаженном виде. Мне пришлось крупно поговорить с Поликарповым.

– Вы не верите в силу нашей пропаганды? – укорил он меня.

– В такую вот филькину грамоту, составленную из брани, я не верю. Немецкий солдат наступает, а наш драпает. В такой момент призывать немцев к свержению Гитлера – по меньшей мере нелепо. И до тех пор, пока мы не научимся побеждать, немцы будут нашими листовками подтираться. Убеждать побеждающего врага, чтобы он покорился побежденным, – это занятие для идиотов. Наконец, сами немецкие коммунисты сказали мне, что ругать Гитлера еще не пришло время...

Я советовал вести контрпропаганду осторожно, сначала на тормозах. Напомнить о временах Фридриха Великого, который был очень талантлив, но все-таки разбит русской армией; напомнить о железном канцлере Бисмарке, человеке громадного ума, который предупреждал немцев не задирать хвост перед Россией, иначе Германия разлетится вдребезги; напомнить немцам о том, что Германия еще не расплатилась с Россией за 1813 год, когда именно русский солдат спас Европу и освободил Пруссию от наполеоновской оккупации.

– Наконец, – сказал я, – надо читать по радио дуракам в Берлине стихи немецкого поэта и патриота Арндта, который говорил, что короли приходят и уходят, а сама Пруссия, сам немецкий народ остаются... Если мы сегодня еще не обладаем ораторским искусством Ганса Фриче, радиодиктора Берлина, так давайте подсуем им Бисмарка или Арндта, которые красноречивее Геббельса... Будем бить немцев примерами немецкой истории!

Однажды, прослушав запись передачи на Германию, я сказал Поликарпову, что выпускать ее в эфир никак нельзя.

- Почему? М[ехлис] одобрил текст.

- Нельзя, - объяснил я, - чтобы московский диктор, вещающий на Германию, зараженную антисемитизмом, говорил с сильным еврейским акцентом.

- Помилуйте, но Лев Захарович...

- Но... акцент, черт побери! - вспылил я. - Какой немец поверит Москве, если услышит голос еврея?

Не знаю, дошло это до Л. З. М[ехлиса] или нет, но при встрече со мною он осмотрел меня чересчур выразительно:

- Мало сидели? Еще захотелось? - и отошел...

Я предложил, помимо официальной («белой») пропаганды, вести иногда и «черную», когда источник ее неизвестен. Немец в Германии, случайно нащупавший в эфире незнакомую станцию, может подумать, что передачу ведет тоже немец, затаившийся со своим передатчиком где-то в Германии. Для этого я как следует подготовился, решив изобразить себя тем немцем, который не забыл еще старой, добропорядочной Германии; никаких призывов - одни эмоции... Мой голос был совершенно неизвестен в международном эфире, и я решил побыть в роли радиодиктора.

Помню, как раз в Москве объявили воздушную тревогу, когда я впервые подошел к микрофону. На пульте вспыхнул сигнальный свет - можно начинать.

- Германия! - начал я. - Где твои милые, уютные города, обвитые старомодным плющом, где твоя былая философская скромность бытия и твои прекрасные музеи, наполненные сокровищами старой мысли? Я люблю тебя, умная, деловая, скромная и просвещенная Германия - страна, давшая миру так много, всем европейцам и всем нам, немцам. Теперь у меня нет сердца - открытая рана, и она кровоточит гневом и страхом...

.....

В сорок первом, когда всем русским людям хотелось верить в близкую гибель военной машины Германии, находились горе-ученые, строившие в угоду нашим правителям добренькие прогнозы о том, что Германия вот-вот выдохнется, ибо в ней наступит истощение от нехватки сырья.

Наша армия по-прежнему отступала, обгоняя ревущие стада колхозных коров и многотысячные толпы изнуренных беженцев, а наш академик Е. С. Варга печатно заверял публику, что еще месяц-два, и все моторы танков и самолетов Гитлера умолкнут, ибо кончатся запасы горючего. Вот именно тогда, рискуя прослыть «паникером», выступил наш знаменитый ученый А. Е. Ферсман, подсчитавший экономические возможности стран гитлеровского блока, и пришел к самому точному выводу:

- Германия развалится к весне сорок пятого года...

Я увлекся своей работой, занимаясь «черной» пропагандой, как немецкий антифашист, живущий где-то в Германии, и, подходя к микрофону, я почему-то всегда вспоминал ценное изречение Ганса фон Секта: «Офицер Генерального штаба не должен иметь своего имени!» У меня и не было теперь имени – и не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя Родины...

1. Наша Катерина просто кипит...

Я вернулся в Петербург еще до объявления войны, и в моей голове почти болезненно пульсировал идиотский рефрен для детского понимания: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от волка уйду...» После двукратного бегства – из Германии и Австрии – меня угнетало чувство своей непригодности для работы в разведке, и я, страдая самолюбием, считал себя «мертвецом в отпуску». Тайный агент, я как бы перестал быть тайным после двух разоблачений, и даже не удивился, получив на домашний адрес почтовую открытку, украшенную целующимися голубками: «Дорогой Наполеон! Остров Св. Елены – слишком роскошно для Вас, а потому приготовьтесь закончить свои гулянки на виселице. Сразу же заверяем Вас, что лишних свидетелей Вашего позора не будет...»

Хотя угроза войны была очевидна, но я почему-то не очень верил в то, что война возможна. Мне казалось, что июльский кризис так и останется лишь кризисом. Кажется, и сами петербуржцы, лучше других россиян осведомленные, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира. Посетив однажды недорогой ресторан на Стрелке, я был удивлен легкомыслию публики, которая откровенно потешалась над сущей ерундой, преподносимой с эстрады балалаечниками:

В далеком ущелье Кавказа

Царица Тамара жила,

На ней треугольная шляпа

И серый походный сюртук...

По возвращении в столицу первое, что меня поразило, так это бешеное падение цен на все товары и баснословная дешевизна продуктов, а цены все падали и падали – это было результатом июльского кризиса: вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары. Примерно за неделю до 1 августа (роковое число!) я был вызван в Генштаб, где без лишних свидетелей меня наградили высоким военным орденом. Почти тогда же – без публикации в газетах – я был жалован во французском посольстве орденом Почетного легиона, который в присутствии посла Палеолога мне вручил военный атташе Маттон де ла Гиш...

После того как меня достаточно обмазали медом, я был причислен к «Разведывательному отделению Главного управления Генштаба», работа которого была почти легальна; моя фамилия появилась в официальных справочниках должностных лиц Российской империи, только начальную букву своей фамилии «О» я просил переделать на букву «А».

Я держался особняком от сослуживцев, чаще всего общаясь с Оскаром Энкелем, будущим начальником генштаба Финляндии, и полковником Сергеем Марковым, который – по словам Алексея Толстого – навсегда отравился «трупным дыханием» войны. Я занимался балканскими делами, поглощенный «изменой» болгарского царя Фердинанда, переставившего Болгарию на рельсы Тройственного союза – против России, и частенько сожалел, что Апис не довел заговор до конца, чтобы прикончить этого холуя Гогенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели «купить» эту продажную сволочь, а

банковский концерн «Дисконто-Гезельшафт» вовремя отсчитал царю 500 миллионов франков... С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился генерал Янушкевич:

- Ну, чем можете порадовать?

- Радости мало, и, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада-фон-Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адресу, более схожий с оплеухой: «Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями!»

Поглощенный делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было – хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов и роз Гименея, ибо, сидящий, на самом верху вулкана, скоро уже сообразил, каким извержением закончится «июльский кризис», и не одна Помпея будет засыпана пеплом...

Случай возобновил мое давнее знакомство с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на пять, если не больше; выделялся своей образованностью: помимо Академии Генштаба окончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещен, что его брат Владимир Дмитриевич убежденный большевик, сотрудник ленинской «Искры», знаток религиозных культов. Теперь один брат готовил Россию к войне, а другой протестовал против войны... Что ж, и такое в жизни бывает!

Разговор у нас был короткий, но содержательный. Бонч-Бруевич – об этом было нетрудно догадаться – ведал делами контрразведки, и он не скрывал своей озабоченности тем, что на верхних этажах империи кто-то нам сильно гадит. Был упомянут и Сухомлинов, ослепленный старческой страстью к своей вульгарной Екатерине, даме блудливой и развязной.

- В конце-то концов, – уныло говорил Михаил Дмитриевич, – это просто баба, которой нравится быть первой в деревне. Но вокруг нее крутятся не только модистки и спекулянты бриллиантами. Через нее в дом военного министра проник и некий Альтшуллер, бывший у нас на примете еще в Киеве. Но едва раздался выстрел в Сараево, как он моментально скрылся, а следы его обнаружили в Вене. Подозрителен и полковник Мясоедов, окруженный всякой

нечистью, недаром же Вильгельм II любил охотиться с ним в горах прусского Роминтена...

К чему я вспомнил эту беседу? Только к тому, что впоследствии, когда земля горела у меня под ногами, я оказался в секретном вагоне Бонч-Бруевича, стоявшем на запасных путях революционного Петрограда, и, может, именно потому из генералов царской армии я сделался генералом советским...

И вот настал судный день – день 1 августа 1914 года!

.....

Утро... Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где никто их не ждал. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию... Пурталес спросил:

– Прекращает ли Россия свою мобилизацию?

– Нет, – кратко ответил Сазонов.

– Я еще раз спрашиваю вас об этом.

– И я еще раз отвечаю вам тем же – нет...

– В таком случае я вынужден вручить вам ноту.

Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи принимает вызов...» Это было попросту глупо!

– Можно подумать, – усмехнулся Сазонов, – мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия не начинала войны. Нам она не нужна! У нас достаточно и своих нерешенных проблем...

– Мы защищаем свою честь, – напыжился Пурталес.

Сазонов без надобности открыл и закрыл чернильницу.

– Простите, но в этих словах – пустота...

Только сейчас министр заметил, что Пурталес, пребывая в состоянии аффекта, вручил ему не одну ноту, а... две!

Берлин снабдил посла двумя редакциями нот для вручения Сазонову одной из них – в зависимости от того, что тот скажет об отмене мобилизации. Но Пурталес допустил чудовищный промах, вручив министру обе редакции. Затем, объявив России войну, германский посол сразу как-то ослабел и, шаркая, поплелся к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже, пока его лоб не коснулся подоконника.

Пурталеса буквально сотрясло в страшных рыданиях.

Сазонов подошел к нему, похлопал его по спине:

– Взбодритесь, коллега. Нельзя же так отчаиваться.

Пурталес, горячо и пылко, заключил министра в объятия:

– Мой дорогой, что же теперь будет... с нами?

– Проклятие народов падет на Германию...

– Ах, оставьте... разве вы или я хотели войны?

На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра утром будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в четыре часа ночи Сазонов разбудил его звонком по телефону из министерства:

– Кажется, нам не расстаться. Дело вот в чем. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германских границ. Я никак не могу освоить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой – эта же Германия просит нас не переступить ее границ.

– Этого я вам объяснить не могу, – отвечал Пурталес.

– В таком случае извините. Всего хорошего.

На этом они нежно (и навсегда) расстались...

Примечательно: самые здравые монархисты – и в Берлине и в Петербурге – отлично понимали, что в этой войне победителей не будет – всех сметут революции! Но в 1914 году все почему-то были уверены, что революция сначала возникнет в Германии.

– А как же иначе? – говорили наши головотяпы. – Немцы, они, брат, культурные. Не то что мы, сиволапые...

.....

– Побольше допинга! – восклицал Сухомлинов. – Германия – лишь мыльный пузырь, заключенный в оболочку крупповской брони. Моя Катерина просто кипит! Дома сам черт ногу ломает. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты... Вот лозунг наших великих дней: все для фронта, все для победы!

Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матерый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не ведал такой жарницы, а Янушкевич уже хлопотал о валенках и полушубках.

– Помилуйте, с меня льет пот. Какие валенки?

– Еще и подковы с шипами на случай гололедицы.

– Да мы через два дня будем в Берлине, – смеялся министр. – Нынешняя война не Семилетняя, когда наша бедная Лиза не знала, как ей устыдить Фридриха Великого...

На Исаакиевской площади озверелая толпа «патриотов» уже громила германское посольство – уродливый храм «тевтонского духа», отвечающий призыву кайзера: «Цольере зовет на бой!». С крыши летели на панель бронзовые кони-Буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев; рубили в куски старинную мебель, под ломами дюжих дворников с жалобным хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса... Настроение этой дикой толпы лучше всего отобразил Маяковский, еще молодой:

Морду в кровь разбила кофейня,

зверьим криком багрима:

«Отравим кровью игры Рейна!

Громами ядер на мрамор Рима!»

Берлин упивался теvтонской мощью, тамошние ораторы утверждали, что «железное исполнение долга – это ценный продукт высокой германской культуры». Немецкие газеты предрекали, что это будет молниеносная война – война «четырех F»:

Frischer. Frommer. Frulicher. Freier.

Освежающая. Благочестивая. Веселая. Вольная.

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами:

– Еще до осеннего листопада вы все вернетесь домой...

В русском Генштабе появился полковник Базаров, бывший военный атташе в Берлине, он просил дать ему свои же секретные отчеты с 1911 года. Был удивлен:

– Я не вижу пометок министра. Читал ли их Сухомлинов?

- Подшивали аккуратно. Наверное... читали.

Базаров отшвырнул фолиант своих донесений.

- Это преступно! - закричал он. - Что мне с того, что его Катерина кипит, как самовар, если я в Берлине напрасно вынюхивал, подкупал и тратил казенные тысячи... Не я ли предупреждал эту Катерину, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский, вместе взятые.

- Вы забыли об Англии, - тихо напомнил Энкель.

- Да плевать я хотел на вашу Англию! - совсем осатанел Базаров. - Для англичан война - это спорт, а для нас, для россиян, война - это смерть...

Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Шла русская гвардия - добры молодцы, кровь с молоком, косая сажень в плечах, - они были воспитаны погибать, но не сдаваться.

Ах, как звучно громыхали полковые литавры!

Столичные рифмоплеты поспешно строчили стихи для газет, чтобы завтра же положить в карман лишнюю пятерку:

И поистине светло и свято

Дело величавое войны,

Серафимы, ясны и крылаты,

За плечами воинов видны...

Сухомлинов названивал в Генштаб - Янушкевичу:

- Ради бога, побольше допинга! Катерина кипит... Хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник отечества хоть разок в жизни поживет у нас, словно Ротшильд.

– Владимир Александрович, – отвечал Янушкевич, – люди по три-четыре дня не перевязаны, раненых не кормят. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут себя хамски – требуют вина и пива, наших санитаров обзывают «ферфлюхтерруссен»! А наша воздушная разведка...

– Ну, что? Здорово наавиатили?

– А наша артиллерия...

– Небось наснарядили?

– Я кончаю разговор. Неотложные дела.

– Допингируйте, дорогой. Побольше допинга!

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяницы, с тихим ужасом воспринявшего сообщение газет о введении в стране «сухого закона». Все алчущие спешили напоследок надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказывать внукам: «Вот кады война с германом началась... у-у, что тут было!»

Мерно и четко шагала русская гвардия. Под грохот ее сапог «кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали».

Из храмов выплескивало на улицы молебны Антанты:

– Господи, спаси императора Николая...

– Господи, спаси короля Британии...

– Господи, спаси Французскую Республику...

Литавры гремели, дождем хризантем покрывались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас «На Берлин!», через три года станет кричать «Долой войну!». А газетчики надрывались:

– Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил и скоро окажется в бедламе... Последняя новость: наши войска пленили парадный мундир императора Франца Иосифа!

Звонок.

Что вы,

мама?

Белая, белая, как на гробе газет.

«Оставьте!

О нем это,

об убитом, телеграмма.

Ах, закройте,

закройте глаза газет!»

На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог:

– Умоляем... спасите честь Франции!

Август. Битва на Марне. Немцы шли прямо на Париж.

2. Париж надо спасать

Я никогда не бухался на колени перед громогласными доктринами германской военщины, всегда твердо зная: России можно нанести поражение, но победить ее нельзя. «Перевоевывать» войны на иной лад – занятие бесполезное, но повторять историю пришлось, и в 1944 году наши солдаты шли по тем же лесам и болотам, где в 1914 году погибали их отцы и деды. Они побеждали, чтобы освободить Европу от насилий фашизма, а мы ложились костями, чтобы спасти честь Франции!..

Лето выпало жаркое: вокруг Петербурга горели леса и массивы торфа, столица плавала в едком дыму, который окутывал улицы пеленой, словно саваном, едко щекотал ноздри. Как мне было грустно в пустой квартире, где после смерти отца я все оставил так, как было при нем, а он оставил все так, как было еще при матери. Невольно я ужасался:

В квартире прибрано. Белеют зеркала.

Как конь попоною, одет рояль забытый;

На консультации вчера здесь Смерть была

И дверь после себя оставила открытой...

Помню, что выходную дверь я закрывал, но она оказалась открытой, и потому появление полковника Базарова было для меня неожиданным. Равнодушно оглядев запустение моего жилья, он сразу заговорил, что войны могло бы не быть:

– Если бы проклятая Англия в самом начале кризиса твердо заявила о своем боевом союзе с нами и Францией, после чего кайзер поджал бы хвост. Но в Лондоне исподтишка радовались, как мы грыземся, и только теперь заявили, что не позволят немцам нарушать нейтралитет Бельгии. Впрочем, не буду чесать в понедельник то место, что чесалось еще в воскресенье. Война – факт!..

– Павел Александрович, – сказал я, – что вы тут выводите мне цыплят из вареных яиц? У вас ко мне дело?

Дело касалось меня. При штабах армий заводились разведотделы, но за неимением специалистов возглавлять их брали жандармов. Базаров сказал, что глупость подобного решения очевидна, ибо разведка – тем более в условиях фронта – это не полицейская облава.

– Сейчас образован Северо-Западный фронт под общим командованием генерала Жилинского, готовый к удару по Восточной Пруссии, дабы оттянуть немецкие силы от Парижа. В составе фронта две армии. Первая – генерала Ренненкампа, известного по кличке «желтая опасность»[2 - Это странное прозвище имело простое объяснение: «желтая» – по цвету желтых казачьих лампасов, которые носил П. К. Ренненкампф на своих штанах, «опасность» – в память о 1905 годе,

когда этот генерал жестоко подавил революционное движение в Сибири.].
Вторая – под командованием генерала Самсонова, прозванного за богатырскую статью «Самсоном Самсонычем»... В какой вы хотели бы служить?

Я спросил коллегу о генерале Ренненкампе:

– Можно ли доверять Павлу Карлычу? «Желтая опасность» уже проявил себя ложью, хапужеством и негодяйством.

– Что делать? – со вздохом отозвался Базаров. – Ренненкампефю особо доверяет сам государь император, который не может забыть его услуги в пятом году... Кстати, Жилинский тоже склонен не доверять «желтой опасности»...

Разговор с Базаровым был у нас откровенным.

– Я не доверяю авторитету и Жилинского, который в войне с японцами возглавлял штаб при Куропаткине, подтверждая те глупости, которые делал тогда Куропаткин. Жилинский сберег свою репутацию при дворе, умея очаровывать придворных дам, но... популярности в армейской среде не обрел. По сути дела, это военный бюрократ, недаром в Генштабе его зовут «живым трупом»...

Выслушав это, я просил время подумать.

– Время не ждет. Я пришел за вашим «да» или «нет».

– А кто при Самсонове начальником штаба?

– Генерал-майор Постовский.

– Это «сумасшедший мулла»? – спросил я.

– Да, таковым именуют его, не считая вполне нормальным, ибо он делает себе «намазы», как правоверный мусульманин.

– А кто при Самсонове военным агентом? Француз?

- Нет. Англичанин. Майор Нокс.

- Павел Александрович, - спросил я, поразмыслив, - а в какой из армий, в Первой или Второй, хотели бы вы служить сами начальником разведотдела?

- Ни в какой, - ответил Базаров, поднимаясь. - Кстати, не держите свои двери открытыми. Вы уже на заметке германского генштаба, а потому советую быть осторожнее... В любом случае вы не имеете права попасть в плен.

- Так что же мне? Прикажете стреляться?

- Стреляйтесь. А я пошел. Всего доброго...

.....

Воюют не за власть - люди погибают за Отечество!

Дело историков разобраться, почему на войну с Японией русские шли неохотно, а нападение Германии на Россию вызвало пробуждение национальных чувств. Так было в 1914-м, так было в 1941 году... Наверное, в русском народе слишком давно и сильно существовало недоверие к Германии, которая со времен Петра I поставляла для царского двора временщиков, а немцы входили в «элиту» придворного общества. Наконец, в эпоху крепостничества помещик брал в управляющие именно лесковского немца, и тот плетью и палками выколачивал из людей оброки. Если собрать воедино цитаты из русской литературы, в которых обличается немец-поработитель, то соберется громадный томина, но достаточно вспомнить салтыковско-щедринский разговор «мальчика в штанах» с «мальчиком без штанов»...

Теперь против многонациональной России ополчилась единонациональная Германская империя, спаянная «железом и кровью» из четырех королевств, шести великих герцогств, пяти просто герцогств, семи княжеств и трех «вольных городов» (Гамбурга, Любека и Бремена). В эти дни я слышал выражение одного интеллигента «Сатана связался с Люцифером», но кто тут был Сатаной, а кто Люцифером - об этом не хотелось думать. Мне виделось иное. Крестьянин, выходя весной в поле, всегда надеется, что осенью соберет урожай. Армия, вступая в войну, обязана верить, что в конце ее будет победа. И пахарь и солдат одинаково терпят лишения ради конечного результата. Не будь

этой манящей цели – к чему же тогда наши усилия?

Увлеченный общим патриотическим порывом (не боюсь высоких слов), я совсем не хотел оставаться в Петербурге на правах «тыловой крысы», и вскоре состоялось мое официальное назначение начальником разведки при штабе Второй армии Самсонова. Но прежде у меня возник разговор в кабинете генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича, который был памятен мне по Академии Генштаба, где он читал лекции по военной администрации. Николай Николаевич мог считать свою карьеру удачной, ибо теперь состоял начальником штаба при главкомверхе, умея ладить и с барином, и с его кучерами. Оскар Энкель предупреждал меня, что в беседе с Янушкевичем следует быть осторожным, ибо он находит особое удовольствие от перлюстрации писем офицеров Генштаба, но я, помнится, утешил Энकेля ответом, что перепискою не грешу.

В разговоре с Янушкевичем я высказал сомнения:

– Пока что я имею хомут, не имея лошади. Налаживать разведку вслепую, не имея агентуры, дело трудное. На доверие немцев Восточной Пруссии нельзя рассчитывать, ибо, как вы сами догадываетесь, нас не встретят цветами.

– Вы же служили в погранстраже Граево, – сказал Янушкевич, проявив осведомленность в моей биографии. – Попробуйте наладить связи с местными контрабандистами.

– Простите, – отвечал я, – но прокурору, карающему вора, не следует прибегать к помощи воровского жаргона. Откуда мы знаем? Вербуя контрабандистов, можно быть уверенным, что они, часто бывая в Восточной Пруссии, уже давно завербованы германской разведкой и согласятся стать «герцогами», чтобы получать от немцев марками, а от меня – рублями... Нет уж! – сказал я. – С этой сволочью не стоит связываться, дабы сохранить чистоту мундира.

Янушкевич напомнил мне, что в таком «грязном» деле, как шпионаж, отбросов нет – есть только кадры.

– Верно! – согласился я. – Но меня взяли в разведку Генштаба не из отбросов общества, ночующих под мостами Обводного канала. Единственное, что могу сделать, так это привлечь к работе поляков или мазуров, населяющих Пруссию с

давних времен, благо сейчас их древняя столица Эльк (нынешний город Лык) открывает нам дорогу в Пруссию.

- Прусские мазуры - лютеране, - возразил Янушкевич.

- Но они же и славяне, поработанные крестоносцами, мазурам выпала участь наших ливов и эстов в Прибалтике.

- Воля ваша, - отвечал Янушкевич...

С удовольствием кота, поймавшего мышь, он открыл секретный сейф своего кабинета. Я считал его умным человеком, но он удивил меня глупостью, когда с таинственным видом извлек наружу роскошный бювар с казенной надписью: «Дело № 00001. МАРИЯ СОРРЕЛЬ». В бюваре хранилась фотография голы женщины, которая, лежа в постели, вздымала за здоровье мужчин бокал с вином. Я не был бабником, даже возмутился:

- Помилуйте, при чем здесь эта дешевая порнография, если речь у нас идет о серьезных делах?

Янушкевич с тем же удовольствием кота плотоядно обозрел сочные прелести красотки.

- Вы, - начал он, - напрасно ополчаетесь противу жандармов, взявших в свои опытные руки дело фронтовой разведки. Как видите, жандармы тоже даром хлеб не едят. Именно они раздобыли не только эту карточку, но им удалось даже составить список господ офицеров Первой армии, имевших удовольствие «употребить» эту даму. А в конце этого списка, - сказал Янушкевич, показав и сам список, - мы видим «желтую опасность» со стороны самого генерала Ренненкампа.

- Напомните, как зовут эту женщину?

- Мария Соррель.

- Француженка?

– Таковой считается.

– А вы уверены в этом? – спросил я, и мне стало тошно. – Вы меня извините, Николай Николаевич, но это еще не разведка. Если мы станем коллекционировать фотографии всех красивых б..., так нам не совладать с разведкой противника и уж, конечно, трудно наладить свою разведку.

Янушкевич с огорчением захлопнул бювар.

– Повезло же Павлу Карлычу... на старости лет! Хороша его Гильза Патроновна, хороша. А на меня вы напрасно обиделись, – построжел Янушкевич. – Этой фотографии придал немалое значение не только главнокомандующий. Его императорское величество тоже высочайше оценил вкус Ренненкампфа. У вас же, я вижу, иной вкус?

– Мне импонирует красота Надежды Плевицкой.

– Так у нее пасть как у лягушки. Когда она разинется, так будто сейчас тебя проглотит...

«Дурак ты дурак», – подумал я, поднявшись, чтобы откланяться. Мне стало ясно, что налаживать фронтową разведку будет трудно. В 1918 году, когда Янушкевича арестовали, он был пристрелен конвоирами, и мне, признаюсь, не стало его жалко. Не жалел я потом и генерала Ренненкампфа, как не жалел и его Гильзу Патроновну – эту Марию Соррель!

.....

С началом войны среди офицеров появилась глупая мода – украшать себя разными побрякушками, чтобы произвести впечатление на слабонервных женщин. Идет, бывало, офицер, весь опутанный ремнями португепи, при шпорах, а сам обвешался револьвером, биноклем, фотокамерой «кодака» и даже свистком для поднимания солдат в атаку – смотреть страшно! Я, конечно, этим барахлом не увлекался, мои сборы на фронт были скромнее: купил десять банок мясных консервов у Елисеева, обзавелся пачками кофе и табаку – этого пока хватит...

До сих пор я не распознал взаимосвязь событий, возникших после моих бесед с Базаровым и Янушкевичем. В кармане мундира уже лежал билет на варшавский экспресс, когда – совсем неожиданно! – со мною пожелал встретиться А. И. Гучков, слишком авторитетный в политических кругах Думы как один из лидеров кадетской партии. Поначалу я расценил его желание совсем иначе: Гучкова я чуточку помнил еще по англобурской войне, в которой он, как и я, участвовал добровольцем; я отделался тогда пленом, а Гучков тяжелым ранением...

Александр Иванович беспокоил меня по телефону:

– Вас не затруднит короткая встреча, скажем, на Стрельне? С вашего соизволения, со мной будет Николай Виссарионович Некрасов, тоже думец и мой соратник.

Я согласился, хотя к политическим говорунам относился так-сяк. Бранить кадетов могут только праздные люди, ибо ловкачество входит в их партийную программу так же естественно, как желание человека обедать. Мы встретились в ресторане «Стрельна». Некрасов, знакомясь, почему-то не заикнулся о своем политическом кредо, представившись «профессором Томского университета по возведению мостовых конструкций». Мне это было безразлично даже в том случае, если бы он назвался «ученым по изготовлению кислых щей». Мы уселись за столик, и ведьма-цыганка, качнув в ушах громадными серьгами, запела низким, страдающим голосом: «Слышишь ли, разумеешь ли?..»

Я слушал и разумел, а Некрасов напомнил нам о «сухом законе», обязательном для всех:

– Коньяк подают только под видом чая в стакане, который надо помешивать ложечкой...

Гучков вдруг пылко заговорил, что война возникла совсем не потому, что была необходима России или Германии:

– Все гораздо проще! Стрела сорвалась с тетивы не потому, что ясна цель, а просто потому, что руки политиков устали держать тетиву в долгом напряжении. Но, поверьте, в мире есть еще надполитические и наднациональные силы, способные организовать человеческий материал в

наилучшем общественном порядке.

- Это... - намекнул я, нарочно запнувшись.

- Это... - не решился Гучков сказать открыто.

- Смелее! - прикрикнул я. - Догадываюсь о тайном сообществе людей с благожелательными намерениями... Не так ли?

- Примерно так, - кивнул Гучков.

Не требовалась ума палата, чтобы сообразить, в какую шайку меня увлекают. Ясно, что оба думца желали бы втянуть меня в свои масонские плутни, в которых загробная мистика настояна на густых дрожжах тайной политики. Я ответил:

- Знаете, из кабака не идут в церковь, а из храма божия не станут шляться в кабак. Паче того, вы, господа, и ваша лож являетесь лишь филиалом известной французской фирмы.

Об этом я был извещен достаточно точно.

- Неправда, - тихо возразил Гучков, - мы уже давно порвали с гегемонией французских масонов, ибо у нас, у русских, своя программа, более широкая... поверьте мне! И шкура у нас покрепче, самой высокой выделки - почти дубленая.

- Жизнь в России и без того сложная, - отвечал я, - так стоит ли осложнять ее розенкрейцерскими выкрутасами времен Очакова иль покоренья Крыма? Сейчас война, - рассудил я, - и Екатерина Великая правильно сделала, что во время войны со шведами и турками пересажала своих масонов за решетку, чтобы не вредили своими связями с врагами России.

- Вот мы и добиваемся... мира, - ляпнул Гучков.

- А зачем вам понадобился мир? - спросил я.

- Чтобы не было войны.

– У нас получается детский разговор. Но я всегда был далек от пацифизма. Не Россия напала на Германию, а Германия напала на Россию, в таких случаях мне, русскому офицеру, надо воевать, а не думать о символическом значении треугольника или «Розового креста» мальтийского рыцаря Кадоша...

Некрасов словно очнулся от сладкой дремоты:

– Видно, вы прочитали Тирю Соколовской, которая с того и кормится, что не умеет разгадать, сколько будет дважды два... Между тем все гораздо сложнее! Интернациональная надстройка масонов всего земного шара способна разрушить узкополитические козни продажных правительств.

На этот вызов я решил не отвечать.

– Вы, я вижу, плохо относитесь к нам, политическим лидерам будущей России? – напрямик спросил Гучков.

– А почему я должен относиться к вам хорошо? Почти все политики, наобещав целый короб всяческих благ, молочные реки и кисельные берега, потом до самой смерти объясняют народу, что они хотели сделать и каковы причины, помешавшие им исполнить свои обещания. Между тем полнота политической власти не всегда влечет за собой и полноту ответственности.

– Вы... монархист? – вдруг спросили меня.

– Неубежденный. Всегда был далеко от людей, которых еще протопоп Аввакум именовал «шишами антихристовыми», и я приму любой строй, лишь бы он был угоден народу.

– Может, вам близки замыслы социалистов?

– Тоже нет, – отвечал я. – Социалисты требуют распределения жизненных благ из принципа «всем поровну», но я сторонник древней латинской формулы: «каждому свое».

Некрасов молчал, но почему-то – даже молчавший! – он казался умнее Гучкова, и я повернулся к Некрасову:

– Вы ошиблись во мне... Что честно, то не таится света. А что несет зло, то прячется в потемках. Если бы помыслы масонского братства были столь чисты, так они были бы всем известны. Ведь не желают быть тайными Общество народной трезвости или Союз взаимопомощи зубных врачей. Извините, господа. Я уже дал присягу, входя в состав русской армии, и вторую клятву давать не намерен. Честь имею.

Гучков с Некрасовым переглянулись, и по их взглядам я понял, что в конце разговора мне удалось поставить жирную точку. Кажется, я все решил правильно. Но я никак не мог предполагать, что этот витиеватый разговор обернется трагедией для меня через три года, когда Гучков станет моим военным министром, а потому он с превеликим удовольствием сделает из моей бравой личности последнее дерьмо собачье...

.....

Уже через день я был в Варшаве, похожей на переполненный госпиталь. С театральных афиш красовалась опереточная Люцина Мессаль, обещавшая передать доход с концерта в пользу увечных русских воинов. Накоротке я повидался с Николаем Степановичем Батюшиным, попросив у него казенный автомобиль.

– Вы сразу на фронт? – спросил он меня.

– Но прежде загляну на Гожую улицу.

– Зачем? – удивился Батюшин.

– А вдруг мне откроет двери пани Вылежинская?

– Не надейтесь. Она уже посажена нами в тюрьму.

– Вот как? На какой срок?

– Этого ей хватит, чтобы состариться.

– В чем же моя «жена» провинилась?

– Вернувшись из Италии, попала на контактах с Юзефом Пилсудским, который сейчас в Вене создает польский легион «Стрелец», направленный против нас – против России, мечта о возрождении «Великой Речи Посполитой» – от моря до моря... Так что забудьте навсегда об этой Гожей улице.

Я поехал по следам Второй армии генерала Самсонова, уже нацеленной для удара в подвздошину Восточной Пруссии.

Россия была обязана спасти Париж...

3. Двумя клиньями

Старое еще не сдавалось новому, наши генералы негласно делились на «огнепоклонников» и «штыколюбов». Первые уповали на массированный огонь, вторые – на молодецкое «ура», памятуя об известном афоризме Суворова: мол, пуля – дура, а штык – молодец... Штыколюбывы не слишком-то жаловали громы пулеметов, вспоминая слова знаменитого Драгомирова:

– Чтобы укокошить человека, достаточно и одной пули. Но зачем всаживать в него десяток пуль сразу, если его можно прикончить одним точным выстрелом...

Вообще-то нет ничего труднее – писать о войне, и тут даже не знаешь, кому верить – историкам или очевидцам, оставившим мемуары. Авторы воспоминаний, на своей шкуре испытавшие, каково им было, доносят до нас боль своих ран и свои личные эмоции; порою они пишут столь выразительно, словно от них, авторов, зависела судьба всей войны. Винить их за это не стоит, ибо солдату всегда кажется, что его рубеж – самый главный, а враг обрушил свой главный удар именно на него. Личные впечатления в таких случаях затемняют главное.

Историки, сами не воевавшие, пишут иначе. В тиши кабинетов нет особых эмоций, кроме одной – оправдать победителя (своего) и на чем свет стоит разругать побежденного (чужого). Справедливость иногда отступает перед натиском «квасного» патриотизма. Стиль же писания научных монографий иной:

читатель с трудом выкарабкивается из соотношения цифр, и, не имея высшего математического образования, он в них и погибает, как в трясине. Зато красноречиво звучат нумерации частей, названия никому не ведомых речушек и деревень, в голове возникает шурум-бурум оттого, что 13-й полк занял позицию раньше срока, а 13-я дивизия не успела выйти к рубежу вовремя. Бывает и так, что историк, подгоняя события под современные настроения, из поражения делает победу и, наоборот, победу врага он превращает в постыдное поражение.

Август 1914 года... Мое мнение о тех днях: беспорядок и путаница рождались не в окопах, а в высших инстанциях, и чем выше стоял начальник, тем больше хаоса он порождал; русский солдат нес главные потери даже не в атаках, а при отступлении. Когда же солдат бежит, офицеры пускают в лоб себе пули, а с плеч генералов срывают погоны... Полно всяких эмоций!

В любом случае солдат, выбравшийся из кошмара боев, всаживает штык в землю и говорит с предельной ясностью:

– Сволочи! Предали... нажрали себе морды, как бураки, а мы пять дён не жрамши. Рази ж это война?

Убийство...

Тоже эмоции. Достоверные. Но в монографиях для них не хватает места. Историк мудро погружен в кабалистику дат и цифр, выводы им заранее сделаны. Но, как говорил наш маршал Жуков, нельзя судить о войне только со своей колокольни – надо взглянуть на себя и глазами противника. Всякий актер мнит о себе, что он красавец, но иногда полезно выслушать и мнение публики, то аплодирующей, то свистящей...

Да, нет труднее занятия – быть баталистом!

.....

Знаменитого «чуда на Марне» еще не было, а потому Франция каждодневно требовала от русских «чуда в Пруссии», чтобы Россия не забывала о союзническом долге, обязанная оттянуть от Парижа часть немецких сил...

Я проезжал знакомые места, напомнившие мне пограничную молодость, с поляками говорил на их языке, и все они, как я мог заметить, от души желали побед нашей армии. Батюшин снабдил меня в дорогу целым ворохом немецких газет, взятых у пленных, и я с немалым удивлением читал, что русскую армию сравнивают с ордами Чингисхана, желающими поработить мирную и культурную Германию. В сообщении из Франкфурта-на-Майне говорилось, что в этом городе уже нашли приют первые беженцы, прусские аристократки, взывающие лично к германской императрице, чтобы она своим авторитетом повлияла на военных, обязанных отстоять их древние замки, уютные фольварки и богатые фермы. В газетных карикатурах русские изображались косоглазыми уродами с волосами до плеч, на остриях казацких пик они поджаривали чудесных немецких младенцев.

Шофер, молодой парень, недавно призванный из запаса, гнал автомобиль по дороге на Пултуск. Он уже возил на фронт штабных офицеров, по себе знал, что творилось в Пруссии, куда недавно вошла Первая армия генерала Ренненкампа.

– Грабят много? – спросил я его.

– А чего там грабить? Комод или трюмо на себе ведь не потащишь, – отвечал он, смеясь. – Вот один наш дурак шелковую обивку спорол с мебели, портянок себе наделал. Ну, как водится, получил по морде... А там, у немцев, и грабить не надо. Войдешь в дом – все открыто; сыр, колбаса – это пожалуйста. Зато хлеба не найдешь. Одни булки. Наши ребята, особо из крестьян, без хлеба прямо звереют.

– А что же хозяева? Разве не звереют, наблюдая, как вы портянки из шелка крутите, их колбасу с сыром жрете?

– Ха! – воскликнул шофер. – Да там хозяев и не ночевало. Все драпанули так, что весь скот остался непоен, некормлен. Свиной там – туча, и все жрать просят. Визжат.

– А как же ландштурм? Партизаны есть ли?

– Одного поймали. Пьян хуже сапожника. Залез на колокольню с ружьем и давай палить по нашим. Ну, ссадили его. Вмиг протрезвел. Отобрали ружье, дали

хорошего тумака – и все.

Впоследствии я сам убедился, что наше командование вело себя с немцами чересчур либерально. Пултуск поразил меня невозмутимой провинциальной тишиной, даже городские куда-то попрятались. Над городом нависла вязкая отвратительная жара. Возле древней синагоги, которая почти выросла в землю, словно надгробие, я зашел в убогий ресторанчик, где полно было жирных мух, отчаянно бившихся с налету в оконные стекла, а выводок тощих кошек встретил меня просительным «мяу». Из соображений брезгливости я ограничил свой обед вареными яйцами, а когда покинул ресторацию, мой автомобиль был окружен еврейскими детьми, между ними шустро сновали дремучие еврейские старцы в ермолках.

– А ну, цадики, – прикрикнул я. – Расступитесь...

Как и следовало ожидать, на бортах автомобиля я сразу разглядел таинственные знаки «пантофельной» почты, знакомой мне еще по службе на Граевской погранзаставе. Я тут же велел шоферу стереть их дочиста, учинив ему выговор:

– Разве ты знаешь, что тут намалевано? Может, в Сольдау только и ждут, чтобы узнать свежие новости...

Следующая остановка – в городке Прасныше, который возвестил о себе зловонием кожевенной фабрики, ощутимым издалека. Здесь временно разместился резерв Второй армии, которая уже была на марше, буквально погибая в глубоких и зыбучих песках бездорожья. На выезде из города я увидел наспех раскинутый, походный госпиталь, к большому шатру под флагом Красного Креста тянулась длинная солдатская очередь.

– Что тут происходит? – спросил я из автомобиля.

Последний в очереди солдат охотно пояснил:

– Так что, ваше высокоблагородие, всем нам тиф от холеры прививают, а оспой, слава богу, уже переболели...

Конечно, над темным человеком можно и потешаться, но иногда стоит и пожалеть таких «детей Отечества», которые у себя дома знали одно лекарство – верхний полоч в родимой баньке.

Ехали дальше. Но после того как были стерты знаки «пантофельной» почты, я испытывал сумбурно-неприятное ощущение, будто уже нахожусь под негласным надзором...

– Стой! – заорал я шоферу, как бешеный.

Автомобиль замер. Перед нами, совсем близко за поворотом, прямо посреди шоссе, строился в железный порядок батальон немецкой инфантерии. Хищно торчали шишаки шлемов «фельдграу», обтянутых серою парусиной, блестела новенькая амуниция, сверкали бляхи на поясах. С ними бог! Тут шофер захохотал:

– Фу, как вы меня напугали.

– Да я и сам, братец, перепугался.

– Это ж – пленные. Передых делали, а теперь их дальше погонят... тудить, где волков хорошо морозить.

Только теперь я заметил наших конвоиров, по-хозяйски гулявших вдоль строя пленных. Немецкие унтер-офицеры по праву заняли места во главе колонны, сплошь обвешанные гирляндами толстых свиных сосисок, два фельдфебеля держали под локтями круглые головы жирного прусского сыра.

– Трогай, – велел я шоферу...

Автомобиль медленно катил вдоль строя военнопленных, которые вполне равнодушно смотрели на меня, а я пристально вглядывался в их лица. Хотелось верить, что я неплохой физиономист и, казалось, угадываю: вот, наверное, баварец, тоскующий по кружке крепкого «мюншенера», вот долговязый пролетарий из рабочего Веддинга, а этот коротышка в очках сидел, может быть, в канцелярии, угождая начальству. Разные и в то же время поразительно одинаковые, какими их сделала серая униформа, а дисциплина сплотила всех в

чеканном строю даже здесь – под охраною русских конвоиров. Каюсь, в этот момент я не хотел видеть в них заклятых врагов, а только людей... обычных людей, вырванных войною из привычного уклада жизни.

И вдруг – совсем неожиданно – мне вспомнился тот безграмотный парень-солдат, стоящий в очереди на прививку. Врачи прививали ему «тиф от холеры», а вот этим немцам, глядящим на меня, смолodu прививали страшную вакцину войны против мира. Я перестал смотреть на них и сказал шоферу:

– Ты можешь ехать побыстрее?..

.....

Теперь по существу дела. Не помню, кто мне это рассказывал, но история была широко известна в офицерских кругах русской армии. Случилось это в русско-японскую войну, когда Самсонов, лихой кавалерист, окончивший Академию Генштаба, командовал бригадой в Сибирской казачьей дивизии. Как раз было время жестоких боев под Мукденом. Прямо из атаки, еще не остывший от ярости боя, Александр Васильевич пришел на мукденский вокзал – к отходу поезда, переполненного ранеными и удиравшими подальше от фронта. На перроне появился и Ренненкампф; когда Павел Карлович сядил в вагон, Самсонов, не боясь множества свидетелей, врезал Ренненкампфу жестокую оскорбительную пощечину:

– Вот тебе на вечную память... носи на здоровье!

Ренненкампф, ничего не ответив, скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду:

– Ферфлюхтер проклятый! Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел весь бой в гаоляне и даже носа оттуда не высунул...

Если об этом случае хорошо знали в армии, то наверняка о нем был достаточно извещен и военный министр Сухомлинов, а потому он – хотя бы по нормам военной морали – не должен был давать две соседние армии под начало Самсонова и Ренненкампфа – армии одного фронта, должны взаимодействовать на едином направлении главного удара.

Ладно уж «шантеклер», у которого в голове «кипящая Катерина», но ведь об этой стародавней вражде генералов хорошо знал и немецкий полковник Макс Гоффман, который как раз в те времена состоял военным атташе при русской армии в Маньчжурии. А теперь Макс Гоффман сидел в штабе 8-й армии, оборонявшей Восточную Пруссию, и... И тут можно задуматься: забыл эту драку Макс Гоффман или учитывает ее в своих умозаключениях? Скорее всего, он – человек большого ума – учитывает, что Ренненкампф способен на прямое предательство, дабы отомстить Самсонову за ту оскорбительную пощечину на перроне мукденского вокзала...

В моем настроении что-то изменилось. Среди русских генштабистов Гоффман давно был на примете, ибо он мало напоминал тех шаблонных немецких генералов, которые любят неукоснительно следовать приказам. Прекрасно владевший русским языком, он презирал всех – и даже Шлифена, и даже Мольтке, при которых состоял в германском генштабе. Именно он, Макс Гоффман, умевший выпить два литра вина еще до завтрака, никогда не терял головы и упорно работал над планами нападения на Россию. Человек он был резкий, неуживчивый, себя ставил выше всех. Гоффман презирал любое начальство – как свое, так и чужое. Наверное, и сейчас он сидит в своем штабе прусского Мариенбурга, пожирая бесчисленное количество сосисок, и смеется над своим генералом Притвицем, издевается над указаниями из Берлина...

Ему попросту наплевать на меня, спешащего навстречу тем «Каннам», которые готовятся нашей армии.

Шофер завернул автомобиль в сторону просеки.

4. Вперед – с закрытыми глазами

Еще в июле – до объявления войны – немецкие аэропланы стали нарушать воздушные границы России, в небесах – лениво и сонно – плавали дирижабли, следя с высоты за передвижением русских войск. Зенитной артиллерии тогда и в помине не было, а солдаты, задирая головы, рассуждали:

– Во, гады, до чего додумались! Мало им на земле пакостей, так они еще в облака забрались...

Теперь, когда почти не осталось свидетелей тех событий, а время безжалостно вытоптало их могилы, писать о трагедии августа 1914 года все равно тяжело. Тяжело и горько! Будем же объективны. Не пристало нам, русским, похваляться успехами, как не пристало и принижать своего противника. «Да ведают потомки православных», что Первая армия Северо-Западного фронта повела наступление на Восточную Пруссию хорошо.

Тут, читатель, без карты не обойтись. Вот древний Кенигсберг (славянский Кролевец), вот и польская Варшава; если между ними провести линию, то где-то посередине ее и отыщем то памятное место, где русские солдаты решали судьбу Парижа – судьбу всей Франции! На карте хорошо видны Мазурские озера, а армия Ренненкампа обходила их с севера, а Второй армии Самсонова предстояло огигать их с юга – так было задумано. Клинья двух армий должны были сомкнуться, чтобы в них увязло прусское воинство. Париж и Берлин лихорадило. Толпы берлинцев осаждали редакции газет, ожидая известия о том, что германская армия вошла в Париж, а в Париже французы расхватывали газеты, чтобы узнать – вошла ли русская армия в пределы Восточной Пруссии, когда же они услышат тяжкий грохот знаменитого «парового катка» России?..

Для немцев осталась загадкой быстрая мобилизация русской армии. На самом же деле секрета не было: Петербург послал на битву войска лишь наполовину готовые для войны; командующий фронтом Жилинский, сидя со своим штабом в Волковыске, не желал слышать, что нет походных пекарен, что слаба лошадиная тяга, что мало тяжелой артиллерии.

– Вперед! – указывал он. – Только вперед...

Всеми немецкими войсками в Восточной Пруссии (8-й армией) командовал генерал фон Притвиц; Мольтке считал его баламутом, которого лучше не трогать, ибо кайзер любил Притвица именно за его бесподобное умение рассказывать бравые «солдатские» анекдоты. Один корпус 8-й армии был целиком составлен из местных жителей-пруссиков, он считался самым стойким, а командовал им генерал Франсуа – потомок парижских гугенотов, искавших в Германии спасения от резни Варфоломеевской ночи. Полковник Макс Гоффман, презирающий всех, советовал Притвицу не мешать Ренненкампу «лезть на рожон»:

– Ясно, что у Ренненкампфа генеральная дирекция – на Кенигсберг! Пусть он подальше оторвется от своих границ, пусть от него оторвутся тылы и обозы, а тогда его можно бить, пока с юга не успела подойти армия Самсонова...

Но не таков был генерал Франсуа, чтобы выслушивать советы, даваемые полковником:

– Казаки идут! – кричал он. – Дикари из Сибири!..

Франсуа предъявили первых военнопленных. Вряд ли эти люди понимали столь скорую перемену в своей жизни, но Франсуа тоже не понимал, что под Сталлупененом он разбил только передовой отряд русских, который попросту... заблудился. Тут и смеяться нечего: ведь русскому человеку нетрудно заблудиться в немецкой провинции. Франсуа вышел из себя, увидев перед собой адъютанта Притвица с приказом – отойти.

– Передайте генералу Притвицу, – не покорился Франсуа, – что я отведу войска, когда все русские разбегутся по домам и закроют за собой двери... Победа близка!

Вторая армия надвинулась на корпус Франсуа в районе двух городов – Гумбинена и Гольдапа; безжалостный «паровой каток» расплющил под собой лучший корпус 8-й германской армии. Узнав об этом, фон Притвиц даже не пошевелился, ибо врачи не советовали ему делать резких движений, а полковник Макс Гоффман пошел в казино и заказал себе десять порций сосисок.

– Так ему, дураку, и надо, – сказал он о Франсуа...

Следует заметить: Франсуа был разбит только офицерами и солдатами Второй армии – без вмешательства Ренненкампфа, который от начала боя и до конца подозрительно долго возился в палатке, отведенной для Марии Соррель.

– Конечно, – говорили офицеры его штаба, – от нашей Гильзы Патроновны так скоро не выберешься... Но это и лучше, что он не вмешивался в наши дела...

Гумбинен (ныне город Гусев) встретил русских настежь открытыми дверями квартир, контор и магазинов, но в них – ни одного человека. Жители, убегая из

города, даже не погасили лампы, и город встречал русских ярким вечерним освещением. Кое-кто из немцев, покидая свои дома, оставил для русских записки, прося, чтобы они не забывали поливать цветы. На кухонных плитах еще не остыли кофейники, к ужину были накрыты семейные столы, наши солдаты впервые за весь боевой день как следует поели в спокойной домашней обстановке. Правда, обстановка им понравилась:

– А хорошо живут немцы! Не сравнить с нашим Крыжополем... опять же – порядок, занавесочки, подушечки, салфеточки. Вот вернусь домой, так накажу своей Размазне Ивановне, чтобы тоже эвдак старалась... Хватит щи лаптем хлебать!

Ренненкампф выбрался из палатки, изможденный завершением планов с Марией Соррель. Ему доложили, что наступать невозможно: все дороги плотно забиты громадными стадами коров, овец и свиней, гонимых жителями к станциям железной дороги. Павел Карлович решил, что немцы приступили к эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии в районы за Вислою, о чем он сразу оповестил ставку Жилинского.

– Можно и расслабиться, – мудро изрек он. – Не в мои-то годы выносить такое напряжение битвы...

Ясно, что Мария Соррель была опытным полководцем. Между прочим, от Гумбинена панически бежал только корпус генерала Макензена, а генерал Франсуа, отступив, энергично приводил свой корпус в порядок. Приказ Ренненкампфа об отдыхе своих частей был передан по радио таким детским кодом, что немцы разгадали его сразу, прибегнув к помощи учителя арифметики... Притвиц застыл в раздумьях о людской суете, а Макс Гоффман распечатал бутылку с вином.

– Последнее слово за мной, – сказал он. – Еще не ясно, куда провалился генерал Самсонов со своей армией...

Всю ночь за лесом вспыхивали разноцветные ракеты – зеленые, красные, желтые. А днем горизонт застилала дым пожаров и костров. Но странно, что дым бывал разный. Не сразу в штабе сообразили, что это сигналы: белесый дым указывал расположение русской пехоты, а темный – артиллерии.

.....

Вторую армию я застал на марше, когда она, палимая солнцем, двигалась по столь глубоким пескам, что жалко было глядеть на лошадей, которые выбивались из сил, влача через холмы пушки, снарядные фуры и походные кухни. Пруссия была богата железнодорожным хозяйством, но колея германских дорог не совпадала с шириною российских, и чтобы пользоваться дорогами Пруссии, нам прежде следовало иметь трофейные паровозы и вагоны. Падали лошади, в их построжки впрягались люди, помогая себе лошадиными призывами: «Ннно-о... ннно-о...»

Самсонова я впервые увидел мельком, когда он знакомился с пополнением новобранцев, только что прибывших в его армию, еще замордованных унтерами, оболваненных наголо. Внушительно возвышаясь над молодняком, «Самсон Самсоныч» решил провести опрос жалоб и претензий:

- Не обижают ли вас младшие офицеры?
- Никак нет... рады стараться.
- Получали ли вы свои три фунта хлеба на день?
- Получали, ваше превосходительство.
- Получали ли портянки с сахаром?
- Получали...

И что бы ни спросил их Самсонов, на все следовал ответ: получали. Наконец и генерал заподозрил недоброе:

- Может, и ананасы вам выдавали?
- Давали, - радостно отозвались новобранцы.
- И угря под соусом крутон-моэль?

- Получали...

- Дураки вы все, мать вашу так! – внятно произнес Самсонов и, понурясь, пошел к своему автомобилю...

Начальник самсоновского штаба генерал Постовский («сумасшедший мулла») принял меня сдержанно и без радости, как в нищей семье, и без того несытой, принимают лишнего нахлебника. Молча он ознакомил меня с приказом Жилинского, похожим на понукание: «Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение 1-ю армию», – писал он, как бы оправдывая Ренненкампа. Между тем я даже без подсказок Постовского убедился, что армия Самсонова по двенадцать часов в сутки выдирается из песков, но еще не выбилась из графика движения.

- Люди измотаны, – огорченно сказал Постовский. – Мы словно тащимся через Сахару, лошадям нет овса, солдаты голодают...

На привале я подслушал такой диалог солдат:

- Опять чечевица! Раньше-то ее даже лошадям не скармливали, потому как лошадь лысеть начинала. А теперича нам суют – русский солдат, мол, все сожрет, а лысеть станет не сзади, а спереду. Оно и видно, что хлебца нам не видать.

- А все они – офицеры! Сами-то небось рисинки кушают, а нам опосля чечевицы даже ребеночка бабе не сделать...

В направлении на Алленштейн армия выбралась из песков на гладкие дороги, связывавшие множество деревень и баронских фольварков. Шоссе были заранее перерыты поперечными канавами, подступы к сыроварням и спиртовым заводам опутывала колючая проволока. Яровые хлеба были немцами уже скошены, но остались на полях, не убраны; громадные просторы топорщились ботвою кормовых бураков. Жители уходили от нас, поджигая свои дома, в загонах оставались стада коров, жалобно блеяли бесхозные овцы. Солдат удивляло, что в домах прусских бауэров были телефоны, а в каждой деревне имелся ресторан, клуб с подмостками и бильярдные комнаты.

– А у нас – што? – рассуждали они. – На завалинке посидишь, с соседом полаешься – вот и все радости...

Это одна сторона дела. Но была и другая. Армию возмущало поведение немцев, бегущих от них, словно от чумы. Солдаты не понимали, в чем дело. Неужели они такие страшные? Все объяснилось очень просто. Пятьдесят тысяч русских, так и не успевших выбраться из Германии, уже были убиты, изнасилованы, ограблены, сидели в тюрьмах, разлученные с детьми и женами, – и вот, чтобы свалить грехи с больной головы на здоровую, Вильгельм II велел насытить Европу грязными слухами о нашествии азиатов, творящих в Пруссии неслыханные зверства. Берлинские газеты развопились на весь мир, будто в пределы непорочной Пруссии вторглись косоглазые орды дикарей, которым ничего не стоит вспороть животы почтенным бюргершам или разбить череп младенца прикладом...

Пропаганда страха перед русскими была поручена пасторам. На стенах домов, церквей или станций висели красочные олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах. Длинные лохмы волос сбегали вдоль спины до копчика, из раскрытых ртов торчали клыки, будто кинжалы, а глаза – как два красных блюдца. Под картинками было написано: «РУССКИЙ КАЗАК. Питается сырым мясом младенцев». Однажды на улице Омудефена я увидел казаков, силившихся поднять с колен молодую немку с грудным ребенком на руках. Казаки ее поднимали, она снова падала. Мне пришлось вмешаться.

– О чем она причитает? – спросил урядник. – Бьемся с ней, бьемся... ровно припадочная, а мы ни хрена не понимаем, чего этой дуре от нас надобно?

– Она просит, – объяснил я, переводя речь задуренной женщины, – чтобы вы не съели ее ребенка, согласная даже на то, чтобы самой быть съеденной вами.

– Да типун ей на язык! – стали материться казаки...

Но постепенно, по мере продвижения армии в глубь Пруссии, эти слухи примолкли, жители стали возвращаться в покинутые жилища. Нас они уже не боялись, но, увидев конные разъезды, пугливо прятались, говоря: «О, Kosaken, Kosaken...» Наши офицеры стыдили их, выслушивая в ответ всякие басни:

– Пасторы в своих проповедях предупреждали, что в темных лесах Сибири, где еще не ступала нога культурного человека, водится особая порода зверей –

казаки, и ваш царь специально разводит их для истребления немцев...

Брошенные селения понемногу оживали, возвращенцам велели открыть магазины и мастерские. Некоторые товары коммерсанты готовы были отдать офицерам даром, но никто и никогда не поддавался этим искушениям, говоря:

- Нет, нет! Мы имеем приказ только покупать...

За один рубль шли три немецкие марки. Если же хозяин лавки не возвращался, ее запирали, а военный комендант накладывал на замки свою печать. При всеобщем житейском достатке пруссаков не было случая, чтобы они отказались от получения дармового обеда из нашей солдатской кухни. Постовский указал срывать всюду олеографии, изображающие «русских зверей», но я ему отсоветовал:

- Да пусть висят, вам-то что?

- Как что? Зачем эта гадость?

- Для контраста, - пояснил я...

Во время этой беседы в Постовском неожиданно пробудился «сумасшедший мулла», шепотом он предупредил меня:

- Если Александр Васильевич станет обижать вас, вы сразу жалуйтесь мне, а я с ним поговорю как надо...

В ответ на эту глупость я только козырнул, не совсем понимая, зачем Самсонову меня обижать? Меня в это время тревожило иное - не столько сам генерал Самсонов, сколько его армия. Зная о переписке с Жилинским, я чувствовал, что армия идет вперед, но идет с закрытыми глазами.

.....

У меня не было оснований для того, чтобы относиться к Самсонову плохо, скорее, я относился хорошо к этому массивному, грузному генералу с широким русским лицом. Самсонову недавно исполнилось 55 лет, я знал его за человека

честных и твердых правил, он казался мне воплощением силы и прямоты храброго солдата. Наверное, эти качества Самсонова в свое время и привлекли в нем Пржевальского, звавшего его в свои азиатские экспедиции.

– Напрасно я не согласился, – рассказывал мне Самсонов. – Я романтик Востока, и в Азии мне легче дышится... подальше от начальства. Вообще-то, – признался Самсонов, – на мое место прочили Брусилова, и, может быть, Алексей Алексеевич, человек талантливый, лучше меня справился бы на посту командарма... Вы говорите, – продолжал он, – что моя армия бредет с закрытыми глазами? Допускаю. Но сие не от меня зависит. Я повинуюсь приказам Ставки и окрикам Жилинского, который толкает меня в спину...

Судьба баловала Самсонова, но начальство держало его подальше от Петербурга – на задворках империи. После войны с самураями он был атаманом войска Донского и Семиреченского, потом стал генерал-губернатором Туркестана, немало сделав для развития этого края. Самсонов осваивал новые площади под посевы хлопка, в пустынях бурил артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительные каналы. В солидном возрасте он женился на молодой женщине, имел двух детей. Со вздохом тоскующего мужа Самсонов показал золотой медальон, внутри которого хранились изображения сына и дочери, показал и фотографию жены.

– Мое запоздалое счастье, – сказал он, не скрывая своей любви. – Что бы я делал без этой женщины?..

Мадам Самсонова показалась мне красивой барышней, очень довольной тем, что стала «превосходительной» дамой, которой позволено теперь заказывать платья в Париже у Демулена. Странно, но я запомнил ее облик, что мне пригодилось впоследствии. Пряча фотографию в бумажник, Александр Васильевич вернулся к нашему разговору:

– Вы правы, что бредем с закрытыми глазами. Но что делаете вы, разведка, чтобы открыть нам глаза?

При всем желании угодить Самсонову я не мог похвастать своими успехами, сославшись на отсутствие агентуры:

– Вот, разве что местные поляки, желающие нам победы... иногда помогают. Но я доверяю не всем, а больше доверяю тем, кто не берет денег за информацию. Невозможно мне оборвать и все телефонные провода, опутывающие Пруссию, словно цепи – опасного преступника. С любой захудалой фермы немец способен докладывать о нас прямо в штабы Кенигсберга. Я находил потаенные аппараты в погребах с картошкой и даже... даже обнаружил их в пчелиных ульях!

Наконец я сказал Самсонову, что были случаи поимки шпионов, переодетых священниками или в женское платье.

– Проверке такие случаи не поддаются, ибо кто же давал мне право задирать юбки на женщинах, вызывающих подозрение? Но разоблачать переодетых иногда приходилось. Их выдавала походка и слишком размашистые движения.

– Вешали? – отрывисто спросил Самсонов.

– Нет. Не вешал. Но одного пристрелил.

– Законно?

– Да, он очень хорошо от меня отстреливался...

В конце разговора Александр Васильевич Самсонов подкупил меня чересчур откровенным признанием.

– Ах, какой из меня полководец? – горестно сказал он. – Жена плохо переносила жарыщу в Ташкенте, ради нее вывез семью в Пятигорск, чтобы попить нарзанов. Все было тихо да мирно, вдруг – бац! – этот выстрел в Сараево. Вызывает меня Сухомлинов и говорит: бери армию... Я, – признался Самсонов, – даже одной дивизией не смог бы командовать, а тут сразу – армия, в которой девять дивизий. А из Волковыска жмут: давай, давай, вперед, только вперед. Вот и гоню армию... Верно – с закрытыми глазами!

И об этом тоже «да ведают потомки православных»...

5. Обстановка

Постовский оказался дальновиднее других.

– Смотрите! – развернул он передо мной карту. – Жилинский, этот «живой труп» с охладевшим сердцем, вообразил, что после успеха Ренненкампа у Гумбинена немцы отступают за Вислу, и теперь настоятельно требует от Самсонова отрезать им пути отступления. Ближе к истине будет другое: немцы сознательно открыли перед Ренненкампом «дирекцию» на Кенигсберг, а все свои силы массируют против нашей армии... Макс Гоффман – скотина мыслящая!

– Вы не ошибаетесь? – намекнул я.

Постовский превратился в «сумасшедшего муллу».

– Побойтесь гнева Аллаха! – закричал он. – Если в этом бардаке ошибаются все, то я, начальник штаба Второй армии, волею судьбы лишен права делать ошибки...

Английский майор Нокс, приставленный к нам вроде официального соглядатая, не вызывал у меня симпатий. Казалось, его присутствие при штабе Самсонова понадобилось союзникам лишь затем, чтобы подталкивать нашу армию, и без того разогнавшуюся на маршах. Мне претило явное пренебрежение Нокса к нашим солдатам, которые, по его мнению, плохо готовы к войне, ибо никогда не играли в футбол. Нокс не заметил в быту наших офицеров и ни одного теннисного корта.

– Это правда, – согласился я, – что наши офицеры к сорока годам редко сохраняют осиную талию, а нашим солдатам, марширующим с полной выкладкой по сорок миль в день, не до футбола – лишь бы дотянуть ноги до привала. Но мы, русские, не понимаем и ваших солдат, идущих на войну с пачками разноцветного пипи-факса, не пойдем и ваших офицеров, которые тащат в окопы резиновые надувные ванны. Если говорить объективно, – сказал я, – то самые крепкие вояки в Европе – это мы и немцы, и нам одинаково смешно, что французская пехота не может расстаться с красными штанами, а ваши кавалеристы красуются красными мундирами.

– Умирать надо красиво, – заметил Нокс.

Тут меня передернуло. Я вспомнил концлагерь в Трансваале и сказал, что буры сражались в тех же костюмах, в каких пасли скот, а к войне относились, как к охоте на диких животных. Вряд ли мои слова понравились Ноксу, но в ответ он сказал, что английская армия способна наступать только в тех случаях, когда обеспечит свой тыл, когда последний солдат пришьет последнюю пуговицу к своему мундиру.

– А вы? – с усмешкой спросил Нокс. – Ренненкампф не вошел в Пруссию, а просто свалился в нее, словно пьяный в ближайшую канаву. Первая армия едва отодвинулась от границ, как ее обозы уже застряли, и пушкам нечем стрелять...

Я смолчал, признав сущую правоту Нокса, который справедливо отомстил мне и за пипифакс и за надувные ванны в окопах. Лучше бы этой пикировки с Ноксом не возникало! Моих академических знаний не хватало, чтобы мудро оценивать обширную и зловещую панораму восточно-пруссских сражений.

– Возможно, мне уже не дорасти до понимания Большой Стратегии, которая из подполковника делает полководца. Суть военного искусства даже не в звании! – сказал я. – Бывает же и так, что сельский фельдшер легко излечивает болезни, лечить которые не возьмется самый модный в столице профессор, окруженный сворой ассистентов...

Во многом, очевидно, повинен я сам, ибо оказался беспомощен в налаживании разведки на путях армии к Алленштейну. Сейчас, перебирая в памяти детали минувшего, я вижу, что, форсируя наступление, мы забыли о своих тылах с такой же легкостью, с какой обыватель летом забывает о сохранении зимней шубы. Обозы погибали в хвосте армии, не успевая подтягиваться за нею, а связи между частями не было... Увы! Об этом даже стыдно писать: армия Самсонова не имела запасов телеграфной проволоки, и мы были вынуждены вести переговоры по телефонам из квартир пруссаков, а кто нас выслушивал на другом конце провода – об этом можно догадываться...

Наконец, можно считать позорным, что Жилинский, словно кучер, настегивал Самсонова и Ренненкампфа, желая видеть в них своих «рысаков», а эти «рысаки» тянули в разные стороны. Ненавидя друг друга, наши генералы проводили не одну совместную, а сразу две самостоятельные операции. То, что

принято в штабах называть «оперативной увязкой» между соседями, полностью отсутствовало, фланги армий не смыкались, а, наоборот, размыкались, и, усиливая их разобщенность, между ними в лесах загнивали Мазурские озера и болота, уже забросанные всякой падалью... Стоит ли продлевать эту тему? Думаю, нем смысла, ибо библиотечные полки ломаются от избытка книг, в которых все сказано, и, пожалуй, лучше, чем у меня.

В один из дней я допрашивал пленного немецкого офицера, облик которого был словно скопирован с карикатур из юмористического журнала «симплициссимус». Но он оказался достаточно начитан в вопросах военного права и морали военного человека. В его словах я скоро уловил знакомые пангерманские интонации и даже не удивился этому.

– Если в жизни, – сказал офицер, – мы наблюдаем сплошь да рядом, что один человек возвышается над другим, то почему более сильная и более умная нация не способна возвышаться над другой, ослабленной физически и умственно... Разве вы осмелитесь отрицать породу аристократии?

– В отношении племенного скота вы правы, – ответил я. – Тут я с вами согласен, что племенные быки имеют право на содержание в улучшенных коровниках, но... Люди не скоты!

Этот офицер запомнился даже не беседою с ним, а тем, что в его сумке я обнаружил карту Восточной Пруссии.

– Я заберу ее у вас, – сразу сказал я.

Это была превосходная топографическая карта, изданная для офицеров рейхсвера еще в 1907 году, когда кайзер проводил в Пруссии маневры своей армии, чтобы поугадать Россию. Карта указывала и все фортеции близ Мазурских озер.

– Когда вы нас ждали? – спросил я.

– На сороковой день после вашей мобилизации, учитывая русскую неорганизованность. За этот срок, пока вы наматываете портянки, мы бы успели разделаться с Францией.

– Значит, мы появились вовремя, – заметил я. – Кстати, Япония объявила вам войну... Как вы к этому относитесь?

Мой вопрос вызвал безудержный смех офицера:

– Никак! Японцы не полезут штурмовать Берлин, а станут обдѣлывать свои делишки в Китае... вот уж о японской угрозе мы, немцы, плакать не будем!

Сообщить о планах 8-й армии в обороне и настроениях в штабе Притвица офицер отказался, а я не имел права настаивать на его признании. В эти дни Самсонов подарил мне хорошую ездовую кобылу – уже под седлом – по кличке Норма, верхом я часто выезжал на передовые позиции, знакомясь с положением дел на фронте. В самсоновской армии были два примечательных генерала, оба из образованных генштабистов. Командир 13-го армейского корпуса Николай Алексеевич Клюев показался мне маловыразительным человеком, наш знаменитый А. А. Брусилов отзывался о нем неважно: умный, знающий, но карьерист и свою карьеру ставил выше интересов России... Клюев жаловался мне:

– У меня большие потери. Все от германских пулеметов... стригут и стригут, словно косят...

Не сам Клюев, а его солдаты вразумили меня в старой воинской примете. После боя убитые немцы лежали с лицами, обращенными в сторону наступающих, и один ефрейтор сказал:

– Недобрый знак! Видать, драпать придется.

– Почему ты так думаешь? – спросил я.

– Эвон как лежат... и на нас смотрят. Примета на войне дурная. В нее еще наши прадеды верили и нам верить заказывали. Нехорошо, если убитый враг на тебя зырит...

15-м армейским корпусом командовал генерал от инфантерии Николай Николаевич Мартос, потомок великого скульптора. Это был человек с утонченным лицом русского интеллигента, а узкая бородка придавала ему

сходство с Дон Кихотом. За личную храбрость в войне с японцами Мартос был награжден «золотым оружием». Недавно он разгромил из пушек немецкий городок Нейденбург, и я, естественно, спросил Мартоса:

– Была ли в этом крайняя необходимость?

– Иначе было нельзя, – пояснил Мартос. – Немцы выкинули на кирхе белый флаг, а когда мы вошли в город, из каждого окна посыпались пули... Почти всюду засели ландштурмовцы, вооруженные чем попало, даже охотничьими ружьями, а прусские мегеры поливали солдат из окон крутым кипятком... На войне как на войне, говорят наши союзники-французы, и они правы: щадить противника – не жалеть себя...

Вечерело. Через призмы бинокля я разглядел вдалеке ленту шоссе, по которой посыльные мальчишки мчались куда-то на велосипедах. В окрестных лесах рыскали лающие своры доберманов-пинчеров, натасканных на то, чтобы находить раненых. В лучах прожекторов, которые скрещивались в небе, подобно клинкам в поединке, вдруг ярко высветился русский аэроплан... Вот по этим же дорогам 1914 года в 1945 году снова будут проходить наши усталые солдаты, чтобы штурмовать древнюю цитадель Пруссии – Кенигсберг.

.....

Над лесными болотами Пруссии, казалось, парил загробный дух Шлифена, словно предвещая крах всему, что он задумал в жизни. Все планы Шлифена рушились, а теперь Притвицу предстояло своей шкурой расплачиваться за хвастовство, с каким генерал Франсуа вовлекал его в позор поражения.

– Лучше бы мне не знать, что случилось...

«Перед нами как бы разверзся ад, – сообщал очевидец. – Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии. Части быстро рedeют. Целыми рядами лежат убитые... между орудий рвутся снаряды... по полю скачут лошади без всадников. Наша пехота прижата к земле огнем русских», – так писал немец, уцелевший под Гумбиненом, не вписанным в хронику русской военной славы, и не потому, что не хватило чистого листа, а просто о Гумбинене забыли. Однако не забыл даже Уинстон Черчилль, писавший: «Очень немногие англичане слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую

сыграла эта победа...» Мы не виноваты, что нам достался позор «похабного» мира в Брест-Литовске, а когда сиятельные дипломаты стран-победительниц рассаживались за столом Версаля, русская кровь была списана ими со счетов, как лавочники списывают убыток в товаре на «утруску и усушку»...

...Гоффман, почти злорадствуя, известил Притвица в Мариенбурге, где Притвицу жилось спокойно:

- Что вы скажете об успехах Франсуа и Макензена? Два кретина поработали на славу. Теперь по шоссе к Гумбинену не проехать даже на телеге - все шоссе сплошь завалено трупами наших солдат. Приятно доложить, что запас русской артиллерии рассчитан по двести двадцать четыре выстрела на один пушечный ствол, но...

- Но сколько же они выпустили? - спросил Притвиц.

- Кажется, четыреста сорок... Теперь за Гумбиненом образовался «слоеный пирог», в котором солдаты лежат, как тесто, а начинкою к пирогу служат наши господа офицеры.

Притвиц, забыв о предостережениях врачей, начал делать резкие движения. Центр 8-й армии был взломан, Самсонов двигал войска к Алленштейну, и Притвиц, далеко не трус, уже видел себя в «мешке» окружения двух русских армий, которые вот-вот сожмут свои железные «клещи»...

- Где? - одним выдохом спросил он.

Макс Гоффман умел читать мысли начальства.

- Вот здесь, - показал он на карте, - под Алленштейном.

- Но Ренненкампф недвижим.

- Зато крайне подвижен Самсонов.

- Вы думаете...

– Я жду, когда все обдумаете вы.

На самом же деле, что бы там Притвиц ни думал, Гоффман надеялся управлять его мыслями, ибо – и это справедливо! – он по праву считал себя умнее генералов. Притвиц всем телом навалился на стол, блуждая глазами по карте.

– Знать бы нам, – рассуждал он вслух, – надолго ли застрял Ренненкампф в палатке своей шлюхи? Если он решил как следует выспаться, тогда мы, возможно, еще успеем отразить натиск Самсонова... Впрочем, – вскинулся Притвиц от карты, – срочно свяжите меня с Франсуа!

Франсуа он велел немедленно отходить, сознавшись, что не видит иного выхода, кроме общего отступления:

– Пруссию придется оставить... Конечно, жаль оставлять столько добра с молоком и маслом, но это необходимо. Вся восьмая армия займет новые позиции на Висле.

– Но сейчас, – грубо вмешался Гоффман, – уже не мы, а войска Самсонова ближе к Висле. Что ответил вам Франсуа?

– Он сказал, что русские не преследуют его. Но Самсонов не снижает темпов на марше, и может случиться так, что его войска окажутся на Висле раньше нас... Сейчас, – заключил Притвиц, – попрошу всех удалиться из моего кабинета.

– И даже мне? – удивился Гоффман.

– Даже вам. Я буду звонить в Кобленц – прямо в ставку его величества, дабы сообщить Мольтке о своем решении, ибо вы сами видите, что Пруссия для рейха потеряна...

Макс Гоффман ответил ему на берлинском жаргоне:

– Валяйте, – и, щелкнув каблуками, удалился...

Вскоре мы увидим, что останется от Притвица! Ничего не останется, кроме фамилии... Зато мы, читатель, ознакомимся с двумя воистину историческими

персонами. Хочется думать, полковник Макс Гоффман нарочно не сказал Притвицу, чтобы тот не барабанил в Кобленц, чтобы не тревожил своего кайзера... «А пусть они все треснут!» – так, наверное, решил здравомыслящий Макс Гоффман, поглощая одну за другой жирные прусские сосиски.

...В лесах Пруссии следовало ожидать явления «богов»!

6. Явление богов

В «клубе господ» – среди господ – сидел господин...

Дело было в Ганновере, а господина звали Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф; лакей подносил ему пиво в персональной кружке, по краям которой плясали веселые чертики с бесенятами. Гинденбург пребывал в заслуженной отставке, а потому, спрашивается, почему бы ему, черт побери, и не выпить? Если пьет всякая нищая мелюзга, так генералу на пенсии сам великий господь бог велит наливать полнее.

Когда человеку 68 лет, торопиться некуда. Если же истории угодно, пусть она сама торопит его, а он лучше посидит дома, читая газету. Гинденбург не ведал своей судьбы. Сразу предупредим читателя: отставная шваль не представляла собою ничего замечательного, но в тех случаях, когда посредственность обретает значение великой личности, тогда любая тварь истории невольно делается превосходным явлением.

Итак, наш генерал пребывал в гордом унынии отставки, сохраняя невозмутимость камня, отодвинутого в сторону от большой дороги. Похвальное качество! Именно оно и решило судьбу Гинденбурга... Ставка кайзера находилась в Кобленце, и там, гордые успехами на западе, еще мало думали о делах на востоке. Однако Мольтке предупреждал Вильгельма II, что никакие успехи на западе не будут чего-либо стоить, если «русский медведь», выбравшись из берлоги, встанет на задние лапы. В Кобленце считали, что судьба Франции уже решена, а после взятия Парижа можно развернуть армию на восток; совершенство железных дорог Германии было неоспоримо, ибо их тянули не хапуги-подрядчики (как в России), а над ними поработали умнейшие головы аналитиков-генштабистов.

Истерический звонок генерала Притвица из прусского Мариенбурга даже не вывел, просто вышиб Мольтке из равновесия. Притвиц докладывал, что 8-я армия еще способна, наверное, унести ноги за Вислу, но он, ее командующий, уже не ручается, что 8-я армия на Висле удержится. Мольтке, вконец ошарашенный, перебирал варианты спасения.

– Притвица убрать... за полный развал фронта! На его место сгодится любой бездельник из отставки, зато штабом должен руководить человек небывалой энергии...

– Там уже есть Макс Гоффман, – подсказали Мольтке, – руководящий оперативным отделом штаба.

– Гоффман в Мариенбурге и останется, – решил Мольтке. – Но Гоффман не годится, ибо способен только критиковать... Вы же сами знаете, какой у него отвратный характер!

Как раз в это время в Бельгии пал Льеж, взятый Эрихом Людендорфом, который теперь приступил к осаде крепости Намюра. Людендорф когда-то был адъютантом Мольтке.

– Срочно отзовите Людендорфа из-под стен Намюра.

Людендорф прибыл в Кобленц моментально, еще не остывший после горячки боя с бельгийцами.

– Вы, – сказал ему Мольтке, – не будете отвечать за то, что случилось в Восточной Пруссии, но вы будете ответственны за все, что случится с Пруссией. Сейчас нам требуется для работы в штабе человек с вашими нервами...

Понятно. Людендорф спросил:

– Если генерал Притвиц вылетит на свалку, то кто же будет командовать Восьмой армией?

– Для этого нужен человек без нервов. Такого мы ищем, перебирая списки отставных генералов... Пока мы нашли только один застарелый пень, который

еще не догнал до конца. Зная ваш горячий характер, Эрих, я понимаю, что командующий армией не должен мешать вам... – И Мольтке назвал: – Гинденбург!

Очевидец выбора Гинденбурга писал: «Единственной причиной его избрания было то обстоятельство, что при его флегматичности от него ожидалось абсолютное бездействие, дабы предоставить полную свободу Людендорфу». Пригодилась и такая подробность: Людендорф хорошо владел русским языком, а Гинденбург, уроженец прусского Позена, достаточно хорошо понимал русский язык. Вильгельм II, живший в Кобленце, сразу принял Людендорфа и оснастил его мундир орденом «Пур ле мерит», выразив уверенность в скорой победе.

– Я, – напомнил кайзеру Мольтке, – уже послал телеграмму Гинденбургу... может, вы его примете тоже?

– А зачем мне этот старый болван? – отвечал кайзер...

Берлинским газетчикам не стоило труда живописать подвиги генерал-майора Эриха Людендорфа, которому исполнилось сорок лет: вся жизнь впереди! Зато они здорово попотели, чтобы представить Гинденбурга в наилучшем свете. Сначала его просто не отыскивали в списках генералов рейхсвера. Перерыли все что можно – никаких следов. Наконец случайно встретили его на букве «Б»: Гинденбург начинался с Бенкендорфа.

– А-а-а! – обрадовались газетчики. – Это же родственник графа Бенкендорфа, того самого, что был на святой Руси шефом корпуса жандармов и умер от нервного изнурения, истощив свои силы в борьбе с крамолой... Пишем!

Имя Гинденбурга стало приобретать особый блеск, доступный лицезрению немецкого читателя. Но тут случилась беда. Гинденбург за время отставки здорово растолстел от пива, штаны на нем никак не сходились. Жена Гертруда с двумя дочерьми (которым позже Гитлер столь нежно лобызал ручки) срочно кинулись вшивать в штаны генерала обширные клинья. В самый пикантный момент примерки расширенных штанов Гинденбурга обеспокоил почтальон с новой телеграммой от Мольтке.

– «Пур ле мерит»? – с надеждой спросила жена.

– Пока не награждают. Но Мольтке диктует мне сесть на ганноверский поезд, который отходит в четыре часа утра, а этот зазнайка Людендорф встретит меня в пути.

– Могли бы и уважить твои годы... орденом! – недовольно ворчала жена. – Смотри, тебя не приглашают даже в Кобленц, а сразу гонят на вокзал...

«Бракосочетание» Гинденбурга с Людендорфом, начальником его штаба, произошло именно на вокзале в Ганновере. Людендорф одним прыжком выскочил из салон-вагона, прицепленного к мощному локомотиву, а навстречу ему, не ручаясь за сохранность штанов, двинулся сосредоточенный Гинденбург, и первые его слова были таковы:

– Что ты скажешь?..

Людендорфу было что сказать, ибо, выехав из Кобленца, он по документам изучил обстановку на фронте Восточной Пруссии, и потому Гинденбург, выслушав его доклад, сказал:

– Лучше и не придумать! Пошли спать...

Они уселись в салон-вагоне экспресса, который сразу помчался в сторону Берлина, где их компанию хотела оживить прекрасная Маргарет – жена Людендорфа.

– Ей очень хочется поглядеть на мой новый орден, а потом мы выставим ее на перрон, – обещал Людендорф. – Теперь же я позволю изложить наши ближайшие планы...

Он сообщил, что армия Ренненкампа – по материалам ставки Кобленца – начала подозрительное отклонение в сторону Кенигсберга, уже далеко оторванная от Самсонова грядю Мазурских болот и озер, а Самсонов по-прежнему гонит свои войска на запад, словно желая отрезать 8-й немецкой армии пути отступления.

– Я не вижу иного выхода, кроме одного: сначала обрушиться на армию Самсонова, выдвинутую вперед, чтобы использовать его отдаленность от армии

Ренненкампфа...

Гинденбургу хватило терпения лишь на 15 минут.

– Ты здорово соображаешь, – похвалил он докладчика. – Но пойми правильно и меня – я должен сначала выспаться...

Маргарет, подсевшая к ним в Берлине, сама пожелала покинуть их в Кюстрине, и с перрона помахала мужу ручкой. Женщина не выдержала пытки скукою мужских разговоров. Позже, скандально разводясь с Людендорфом, она сообщила в своих мемуарах, что в такой компании тупиц и дураков, какими были Гинденбург с ее мужем, ей бывать еще никогда не приходилось. Так что она без сожаления рассталась с ними... Экспресс наращивал скорость, приближаясь к Мариенбургу, где располагалась ставка 8-й армии.

– Проснитесь, генерал, – с трудом разбудил Людендорф своего командующего. – Нас, кажется, встречают...

Среди встречающих был и Макс Гоффман.

– Явление богов, – саркастически заметил он, когда вслед за громадной тушей Гинденбурга появилась фигура Людендорфа, оснащенная высшим военным орденом Германской империи...

Гинденбург первым делом спросил встречающих:

– Все ли в порядке? Где тут можно выспаться?..

(Впоследствии Макс Гоффман, сопровождая ротозеев-туристов по местам боев Восточной Пруссии, никогда не терял твоего превосходного остроумия: «Вот на этом стуле фельдмаршал любил дремать до битвы при Танненберге, на этой кровати он крепко спал после битвы, и, между нами говоря, тут он всхрапнул во время битвы... Пойдем дальше! Я вам покажу места, где выспался наш легендарный полководец...»)

Всегда останется насущным здравый философский вопрос:

– Собака крутит хвостом или хвост крутит собакой?

То, что Людендорф раскручивал Гинденбурга как ему хотелось, это объяснять не приходится. Но тогда возникает вопрос: кем же будет крутить Макс Гоффман?..

Гоффману можно и посочувствовать: вертеть Людендорфом так, как он крутил Притвицем, ему было труднее, хотя он еще не терял веры в свои силы. Когда-то они оба проживали в одном берлинском доме и, кажется, не могли похвастать добрососедскими отношениями, – недаром же Людендорф ворчал: «Мало, что я имел Макса своим соседом, так теперь вижу в своем оперативном отделе». При появлении в Мариенбурге Людендорф напомнил:

– Надеюсь, вами исполнен мой приказ, переданный мною еще из Кобленца, чтобы Франсуа и вся армия скорее оторвались от противника, дабы переформироваться заново.

– Да, – отвечал Гоффман, – но такой же точно приказ я отдал еще раньше из Мариенбурга, а ваш приказ из Кобленца лишь подтвердил правильность моих распоряжений...

Людендорф тогда же, наверное, решил, что, если станет писать мемуары, так имени Гоффмана даже не упомянет, будто его и не было. В их соперничестве побеждал все-таки Гоффман, и как ни крутил своим хвостом Людендорф, но его предначертания каким-то образом всегда выглядели лишь повторением приказов Гоффмана, из чего можно сделать вывод: полковник Гоффман был той собакой, которая с большим умением крутила хвостом – генералом Людендорфом, а Людендорф раскручивал самого Гинденбурга.

Между тем Гинденбург недаром получил прозвище «Маршал Что Скажешь»; при любом вопросе он поворачивался к Людендорфу:

– Что ты скажешь? Лучше нам не придумать...

Чтобы раз и навсегда избавиться от влияния Гоффмана, Людендорф, минуя оперативный отдел, общался лично с командирами корпусов, используя телефоны и телеграф. Гинденбург не вмешивался. Он настолько заостенел в прошлом, которое было лучше настоящего, что один вид телефонного аппарата вызывал у него тошнотную слабость.

– Пусть этой штукой пользуется молодежь, – говорил он, – а мы при Седане побеждали своей глоткой...

Людендорф не отвечал за то, что натворил до него Притвиц, но он становился ответственным за все после удаления Притвица. Следовало принять решение – почти фатальное, от которого будет зависеть не только его карьера, но, пожалуй, и весь ход войны – как на востоке, так и на западе. Людендорфу снились еще бельгийские пожары, во сне бельгийские франтиреры стреляли в него из окон своих квартир.

– Когда же увижу прусские сны? – говорил он...

На разъездах и станциях между Инстербургом и Кенигсбергом нервно покрикивали паровозы. Одни эшелоны разгружались, другие грузились заново – пехотой, пушками и тюками прессованного сена для кавалерии: 8-я армия перетасовывала свои дивизии, словно опытный шулер карты, чтобы начать всю игру сначала. Некоторые части ландвера и ландштурма (из местных жителей) были сознательно распущены по домам, но вместе с оружием.

– Побольше ярмарок! – наказывал Людендорф. – Русские охотно поддерживают прежнюю торговую жизнь, чтобы народ торговал и веселился... Этим надо воспользоваться! В нужный момент вы прямо с ярмарочных площадей ударите им в тыл – взводами, ротами, батальонами...

Навещая Гинденбурга, Людендорф информировал его:

– Ренненкампф после ошеломляющего успеха при Гумбинене мог бы делать из нашего мяса отбивные котлеты, но вместо этого он снова застрял, даже не преследуя отступающих.

– Не могу уснуть, – жаловался Гинденбург. – Опять всю ночь лаяли собаки... откуда их столько?

Это лаяли своры доберман-пинчеров. Немецкая войсковая разведка рыскала по местам недавних боев, обшаривая карманы и сумки убитых русских офицеров, все документы без промедления поступали в штаб Людендорфа. Он планировал операцию по разгрому армии Самсонова на юге Пруссии, которую еще до него

спланировал Гоффман, но... сомневался.

– Можем ли мы, собирая силы на юге, игнорировать армию Ренненкампфа, нависшую с севера подобно грозовой туче? Собрал все войска против одного Самсонова, – рассуждал Людендорф, – мы рискуем оголить пути, ведущие к Кенигсбергу, а «желтая опасность» в лице Ренненкампфа может развернуться, чтобы раздавить нас всех...

Макс Гоффман выложил перед ним оперативный план русских, подписанный Жилинским, и его перехваченную радиограмму, найденную в портмоне убитого офицера. «Энергично наступайте, – заклинал Жилинский Самсонова. – Ваше движение навстречу противнику, отступающему перед армией Ренненкампфа, имеет цель пресечения немцам отхода к Висле».

– Что вы скажете? – ухмыльнулся Гоффман.

– Все не вяжется.

– А не вяжется потому, что Ренненкампф врет, – объяснил Гоффман. – Он врет, обманывая Жилинского, а Жилинский, обманутый Ренненкампфом, невольно обманывает Самсонова. Ренненкампф давно потерял соприкосновение с нами, но продолжает врать Жилинскому, будто он нас преследует. Я все продумал... все, пока вы гостили в Кобленце.

Людендорф проглотил обиду. Он еще сомневался:

– Не случится ли так, что Самсонов, попав под наш первый удар, призовет на помощь армию Ренненкампфа, и тогда вся наша Восьмая армия окажется в мешке русских...

Пришло время смеяться Гоффману:

– Ренненкампфа я лично знаю по битвам на полях Маньчжурии, и он никогда не придет на выручку Самсонову. Гляньте на карту: какой разрыв между армиями русских, и мы этот разрыв должны использовать... Ренненкампф не придет!

7. Слышу голос Тангейзера...

Прошлое имеет привычку как бы перекликаться с будущим – это даже закономерно. В летописи событий, словно в преемственности поколений, затаилась своя удивительная генеалогия, иногда трудно поддающаяся анализу.

Откуда же было тогда знать нашим дедам и прадедам, что армия Самсонова залезла в те самые гнилые прусские леса, где укрывался тихий и никому не известный Растенбург, который много лет спустя Гитлер избрал для размещения своего знаменитого «Вольфшанце» («Волчье логово»). Русским солдатам из армии генерала Самсонова не могло быть известно, что, сражаясь с Гинденбургом и Людендорфом, они насмерть бьются с теми самыми людьми, которые привели Гитлера к власти...

Сейчас там тихо. Даже трагически тихо в болотистых лесах, что лежат близ мазурского Кенштына, а земля бывшей Пруссии стала землей народной Польши, но она, эта земля, не сберегла ни черепов, ни братских могил русских солдат, павших здесь в августе 1914 года.

Не остались в живых и восемнадцать тысяч узников, которых осенью 1940 года согнали в эти леса, чтобы они замуровали в бетон глубокие бункеры ставки Гитлера, готовящего нападение на Россию.

Теперь там – на месте минных полей – сеют поляки рожь и кормовой рапс, а на месте «Вольфшанце» остались лишь гигантские глыбы замшелого бетона, исковерканные взрывами чудовищной силы. Советские воины увидели их лишь 27 января 1945 года и не могли понять, какие циклопы и ради каких целей разобрали здесь эти чудовищные монолиты. Правда открылась нам позже, и теперь из Кенштына катят нарядные автобусы с туристами, чтобы люди могли увидеть страшное место, где почти все время войны прятался Гитлер.

Но разве не символично, что он избрал для себя «Волчье логово» именно в этих пропащих местах, неподалеку от места, где когда-то гремела первая великая битва первой мировой войны? Ныне не осталось людей, которые бы лично знали генерала Самсонова. Но еще бродят по миру, щелкая вставными зубами, те самые «волки», которых мы выгнали из «Волчьего логова»...

Говорят, что теперь там часто поют соловьи.

.....

Случилось это после страшного рукопашного боя...

Ночь была прекрасная. В глухом лесу – на бивуаке – я выбрал кочки посуше, накрыл их попоной, чтобы выспаться. Денщик задал Норме овса, и лошадь, погрузив морду в обширную торбу, громко хрупала надо мною, дополняя походный уют своим животным теплом. Я уже засыпал, когда лес пронизало диким, почти истошным воплем... Я схватился за револьвер:

– Что там? – вскинулся я, спрашивая солдат.

– Да кто ж его знает? На то и война...

Я снова улегся на попону, но вдруг послышалось пение. Сильный мужской голос выводил в ночном лесу знакомую арию Тангейзера из оперы Вагнера. Мне стало даже не по себе. Крик – это еще можно понять, но чтобы вот здесь, в этих чащобах Пруссии, давали бесплатный концерт... это никак не укладывалось в моем сознании. Один из солдат, разбуженный пением, поднялся с земли, возмущенный:

– Во, зараза какая! Не даст поспать... нашел время!

Я проверил барабан револьвера, мне сказали:

– Вы куда? Не надо ходить.

– Почему?

– Да страшно как-то.

– Мне тоже. Однако певец-то отличный... Ведь не граммофон же там кто-то заводит...

Я осторожно вошел в лес, следуя на призыв поющего голоса. Тангейзер – великий миннезингер XIII века, о котором в немецком народе слагали легенды, вдохновившие Вагнера, и вот теперь, казалось, он подзывает меня к себе. Из-за туч пробилась лунища, осветив лесную поляну, на которой я увидел немецкого офицера без фуражки. Лицо его было гладко выбритым, как у актера, и, прижав ладонь к сердцу, он хорошо поставленным голосом изливал свою душу в любовной арии. Наверное, решил я тогда, передо мною оперный певец, призванный из запаса, который так потрясен ужасами войны, что, бедняга, спятил... Я невольно заслушался его пением.

Но тут подо мною громко хрустнул сучок, певец смолк.

– Bravo, bravo, – неожиданно сказал я, похлопав в ладоши. – Сегодня вы превзошли сами себя...

Немецкий офицер как-то слепо-безумно смотрел на меня.

– Я – великий Тангейзер, – отвечал он вполне серьезно. – Но боюсь, что Елизавета ко мне уже не вернется.

У меня не оставалось сомнений: это был сумасшедший. Тут я заметил, что глаза певца полны слез, и во взоре невыразимая мука... Надо было увести его из леса.

– Я не хочу вам льстить, – сказал я. – Но директор театра послал меня к вам, чтобы продлить контракт до конца сезона... Поверьте, он ждет вас... пойдете!

Но едва я сделал попытку увлечь его за собой, как певец вырвался из моих рук и, ломая кусты, скрылся в лесу, и долго-долго потом я слышал из мрака его чудесное пение...

Наверное, я был последним, кто слышал его голос!

Постскриптум № 6

Как говорили великие ораторы древности, «вернемся к нашим баранам»... Пора нам покончить с Ренненкампом!

Я не желаю интриговать читателя, чтобы он гадал – а что будет дальше, а посему никогда не боюсь сразу раскрывать перед ним свои карты. Паче того, в такой проклятущей истории, какова наша, попросту необходим конец, чтобы добродетель восторжествовала, а зло было наказано...

Когда судьба армии Самсонова была уже решена, Ренненкампф не стал ждать своей очереди и подлейше бросил свою армию на произвол судьбы. Конечно, он забрал с собою Марию Соррель, вместе с нею уселся в автомобиль, который и умчал счастливых любовников в глубокий тыл. За такую активность Ренненкампфа с позором изгнали из числа русского генералитета – как труса, обманщика и невежду. Правда, царь пытался защищать своего любимца, но его дядя, великий князь Николай Николаевич, доказал царю, что Ренненкампф всегда был большой сволочью, а вместе с ним виноват и командующий фронтом Жилинский...

Английский историк Ричард Роуан писал, что предательское поведение Ренненкампфа известно, «но никому и уже никогда не удастся установить, в какой мере вина за катастрофу армии Самсонова падает на генерала, а в какой – на коварную шпионку Марию Соррель». Да, мы не знаем, какова роль этой женщины в сдерживании Ренненкампфа, чтобы он не спешил на штурм Кенигсберга, чтобы не торопился на выручку армии Самсонова... Разоблаченная офицерами штаба Первой армии, Мария Соррель нашла свой конец в прусских лесах, повешенная на суку ближайшего дерева. Повесили ее сами офицеры!

Осталось разобраться с П. К. Ренненкампом...

.....

Место действия – Таганрог, время – март 1918 года.

Ф. И. Смоковников (из мещан города Витебска) копался в огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, не замечен в пьянстве, равнодушен к женщинам, и по всему было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Ковырлся в земле – больше для приличия.

Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, но боялся и красных, зато поджидал немецких оккупантов:

- Вот немцы придут, кулаком трахнут – порядок будет!..

Но сначала кулаком трахнули ночью в двери его дома:

- Гражданин Смоковников, откройте... телеграмма...

Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты:

- Гражданин Смоковников, вы... Ренненкампф?

- Впервые слышу. Какой еще там Рененене...

- Ну, пойдете. Хватит дурака валять...

Боровоподобная личность «желтой опасности» была настолько выразительна, его портреты столь часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немислимо. Ренненкампф понимал, что большевики не простят ему 1905 года, когда он возглавлял карательные отряды в Сибири. Но он был, наверное, удивлен, что его судили за события августа 1914 года:

- Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?..

Царская власть не рассчиталась с ним. Белогвардейская разведка тоже проморгала «огородника». Вот и получилось, что за гибель армии Самсонова ему пришлось держать ответ уже перед советской властью... Возмездие было неизбежно, и ревтрибунал вынес ему смертный приговор.

«В расход!» – как говорили тогда...

Часть третья. При исполнении долга

Глава первая. Долгий путь

Долгий путь. Он много крови выпил,

О, как мы любили горячо —

В виселиц качающемся скрипе

И у стен с отбитым кирпичом.

Ник. Тихонов

НАПИСАНО В 1942 ГОДУ:

...под Москвой. Было очень много ликований, но мне, признаюсь, эта операция не принесла ощущения полноты победы. Не буду сваливать все на холода, заморозившие технику вермахта, ибо на русские морозы еще задолго до Геббельса ссылался и Наполеон в своем знаменитом «28-м бюллетене». Но все-таки наступление, закончившееся для нас успешно, не казалось мне таким сокрушающим ударом, чтобы радикально изменить положение на фронте. Отбросить противника далеко от Москвы не удалось. Ясно, что немцы отогреются по весне, перещелкают на себе вшей, обновят технику, и потому летом нам следует ожидать серьезных оперативных решений...

А я не ладил с начальством. Вскоре меня отстранили от пропаганды, но и других поручений не давали. Курс военной статистики в Академии Генштаба был сильно урезан, лекции занимали лишь четыре часа в неделю. Чувствовалось, что моя неприкаянность вызвана какими-то побочными соображениями, и я сознательно пошел на обострение обстановки.

– Мне, – заявил я в особом отделе, – не совсем-то понятно, почему в такое трудное время, какое переживает Отчизна, меня, кадрового специалиста, держат под шкафом, словно забытый мусор... Чем вызвано недоверие? Или виной тому мой последний арест? Так все уже выяснилось. Я вам преподнес Бориса Энгельгардта, я действительно вышел прямо на Целлариуса... Не понимаю! Лучше уж пошлите меня на фронт рядовым солдатом.

- У вас другие фронты, - ответили мне...

Было видно, что моего визита не ожидали, и дальнейший разговор никак не блистал крупными народными мудростями. Сначала мне ядовито намекнули на мои расхождения с начальством:

- Говорят, вы не исправились.

- Но я же не ребенок, чтобы, нашалив, исправляться. Мои убеждения сложились не сегодня, и не вам меня перекраивать.

- А вы разве не боитесь противоречить людям, облеченным высокой доверенностью партии и народа?

- Я старею. Семьи нет. Дети не сидят по лавкам, ожидая, когда их накормят. Так чего мне бояться? Кажется, отжил свое честно, а теперь желаю умереть честным человеком, чтобы смерть застала меня при исполнении долга.

- Честным... ведь вы были в немецком плену?

- При царе это не считалось вселенским позором, напротив - мученичеством, и бывших в плену награждали орденами.

- За что? За трусость?

- Простите, - обиделся я, - тогда же в баварской крепости Ингольштадта сидели в одной камере два офицера. Одного звали Шарлем де Голлем, а другого Михаилом Тухачевским, и трусами их никак не назовешь, хотя они тоже сдались в плен...

Это озадачило моих собеседников:

- А вас взяли в плен? Или сдались сами?

- Сам... На войне случаются такие острые коллизии, когда даже смелый человек бывает вынужден поднять руки...

Этот корявый разговор был продолжен в более просторных кабинетах с гораздо большим количеством служебных телефонов, и портрет Хозяина не был литографией для всеядного ширпотреба, а был исполнен маслом на холсте, вставленный в золотую раму. Тут рассуждали более откровенно.

– Сколько у вас было орденов?

– До революции?

– До.

– Много! Но в семнадцатом я обменял их на пуд белой муки, о чем до сих пор горестно сожалею. Из советских же наград имею лишь нагрудный знак «XX лет РККА».

– У вас отличные аттестации по службе до революции.

– А как же иначе? Если уж дослужился до генеральских эполет, так, наверное, чего-нибудь стоил... Не так ли?

– Хорошо. Где бы вы хотели теперь быть?

Вопрос был поставлен напрямик, и потому он требовал от меня предельно искреннего ответа – без экивоков:

– Для работы в Германии я сейчас попросту не гожусь. Мои знания лучше использовать в Югославии, где началась народная война против немецких оккупантов.

Ответ был малоутешительным для меня:

– Вы плохо представляете себе обстановку в отрядах Тито, там война очень жестокая, и вам физически не выдержать всех ее тягот... Ведь вам уже далеко за шестьдесят.

– Но еще не семьдесят же, черт побери! – чересчур горячо возразил я. – Раньше в русской армии служили и позже, даже в отставке оказывая немалые услуги

отечеству. Поверьте, что на здоровье я никогда не жалею.

– Хорошо, – закончили разговор. – Мы подумаем, где вам удобнее сейчас быть. Всего доброго...

Мне почему-то казалось, что меня ожидают Балканы, и я даже удивился, когда мне предписали скорый вылет в Тегеран.

– Вы имеете представление о Персии, нынешнем Иране?

– Осмеливаюсь судить об этой стране лишь по экзотическим романам Пьера Лоти, где с большим толком воспеты женщины – ароматные, как розы Исфагана.

– Вот и хорошо, – сказали мне. – Сейчас там и нужен такой бабник, кажущийся совсем непригодным для разведки...

.....

Конечно, я знал о Персии не только по романам. Иран был перенасыщен агентами абвера, активность которых вызвала большую тревогу не только в Москве, озабоченной сохранностью бакинских нефтепромыслов, но и в Лондоне, где не могли смириться с угрозой нефтеносным источникам в районе Персидского залива. В августе 1941 года британские войска вошли в Иран с юга, а наша армия вошла с севера, чтобы обезвредить свои границы от диверсий на Каспии и на Кавказе. Тогда же над крышами Тегерана с воем пронеслись неопознанные самолеты, сыпавшие бомбы и зажигалки на жилые кварталы, а немецкое посольство объявило, что налет был произведен советскими бомбардировщиками... В таких сложных условиях наша разведка в Иране приступила к уничтожению вражеской агентуры. Это было чертовски трудное дело, тем более что немцев поддерживали племена кашкайцев и бахтиаров, которые терпеть не могли бумажных денег, зато абвер расплачивался с ними чистым золотом.

Я вылетел из Москвы в те самые трагические дни, когда немцы заканчивали окружение нашей армии в районе Барвенково, маршал Тимошенко оставил там 480 000 человек и всю боевую технику, а в нашей печати стыдливо признавались, что 90 000 «пропали без вести». Вермахт двигался на Сталинград! Наш самолет садился на дозаправку именно в Сталинграде, уже переполненном

беженцами, город на Волге стонал от рева скота, гонимого на восток, все были взволнованы самыми мрачными слухами.

Мы летели через Астрахань и Баку, наш «дуглас» основательно трясло в тучах. Конечно, в мои годы не станешь ориенталистом, но я все-таки запасся в дорогу дешевым разговорником «Русский в Персии», изданным до революции, и теперь зубрил:

– Кэнди вэ чай дарид? – есть ли у вас чай с сахаром? Бераи бенда лехаф-э-э-табиستاني лазим ест! – прошу дать одеяло...

В разведуправлении Москвы меня предупредили, что в январе 1942 года немецкая авиация сбросила над Ираном сотню парашютистов, владеющих восточными языками, чтобы с их помощью оживить работу абвера на границах с Индией и СССР. Посадка нашего «дугласа» в сильно разреженном воздухе Тегерана показалась мне скорее падением самолета в облаке густейшей пыли, окутывавшей аэродром, заставленный авиацией англичан; здесь же, под крыльями самолетов, сновали юркие «джипы» и «виллисы» с хохочущими и орущими «томми». Дверь фюзеляжа открыли, и внутрь «дугласа» пахнуло такой жарницей, будто я угодил в ванну с горячим глицерином. Я спустился по трапу на землю, повторяя понравившуюся мне персидскую поговорку:

– Самый вкусный виноград всегда достается шакалу...

Английский контроль. Я предъявил документы – ревизор Управления банков СССР. Молодой британский офицер в шортах и безрукавке едва глянул в бумаги, спросив меня по-русски:

– Долкая дорога... верно, папаша?

– Долгая, сынок, – ответил я в том же духе.

Но это мимолетное «папаша» еще раз напомнило мне о моем презренном возрасте. Я появился в Тегеране для ревизии Русско-иранского банка, солидного учреждения, которое с давних времен сотрудничало с персидскими деловыми кругами. Всегда плохо смыслил в вопросах денежных обращений, а теперь – в роли московского ревизора – я имел этот банк лишь прикрытием для своих дел, весьма далеких от развития экономики. Директор банка мог быть вполне уверен,

что я не посажу его за растрату. Я входил в подчинение майору Сергею Сергеевичу Т[уманову], который возглавлял группу советской разведки, жестоко боровшейся с нацистским подпольем в Иране...

На выходе с аэродрома Т[уманов] ожидал меня в автомобиле. Тегеран к вечеру высветился неоновыми рекламами, сверкали витрины фешенебельных магазинов, в нарядной столичной публике царило некое оживление праздности, столь несвойственной москвичам; среди мотоциклов и автомашин бежали ослики с поклажей, тут же величаво выступали караванные верблюды.

– Вас прислали... – начал майор Т[уманов].

– ...в помощь вам, – опередил я его вопрос.

При этом объяснил: мои задачи просты, хотя и хлопотливы – я должен установить связь с влиятельными белоэмигрантами, согласными помочь родине в ее трудные дни, мне следовало наладить контакты и с богатой армянской колонией, которая душою всегда была близка армянам нашего Еревана.

– Может быть, – сказал я Т[уманову], – кто-либо из этих людей, сочувствующих нашей стране, сумеет помочь нам...

Т[уманов], легко управляя машиной, сказал, что в Иране обстановка гораздо сложнее, нежели ее представляют в Москве, а вожди племен, живущих в горах, агентов абвера не выдадут:

– Немцы берут их за душу не только золотишком с дурной лигатурой, но и тем, что выдают себя за «освободителей мусульман от британского и русского империализма» – старая песня, известная нам со времен кайзера! Но сейчас, когда фюрер жмет на Сталинград, немцы рассчитывают – через Кавказ – объединить свои армии с армией Роммеля, которая – через Каир – выйдет в Палестину и Сирию, а потом развернется и далее – прямо на Индию... В каком вы звании? – вдруг спросил Т[уманов].

– Всего лишь генерал-майор.

Машина в его руках рыскнула в сторону.

– Простите, – сказал Т[уманов], – я ведь только майор, а Москва велела принять вас как своего подчиненного.

– Все верно. В таком деле, каково наше, чиновничество излишне. Я охотно исполню все ваши указания.

– Благодарю. Вот и «Континенталь», где для вас снят номер с душем и ванной. Не пейте сырой воды. Директора банка легко запомнить: Иосиф Виссарионович Гусаков. Вот вам и мой телефон. В случае каких-либо осложнений – звоните...

Иосиф Виссарионович оказался милейшим человеком.

– Каковы ваши первые впечатления от Персии?

– О! – воскликнул я, взваливая на стол разбухший портфель, набитый пачками газет, которые я никогда не читал. – Пьер Лоти прав: розы благоуханны, персиянки очаровательны, а лохмотья нищих по-рубенсовски живописны... Итак, с чего мы начнем?

– Сначала я позволю себе отчитаться в кредитах.

– Надеюсь, вы меня не очень стесните во времени? Знаете, я человек в годах, а тут... такие шеншины... такие шеншины! Где мне, старому петербуржцу, устоять перед ними?..

Кажется, бедняга поверил, что я опытный ловелас и провожу свои вечера в самых темных кварталах Тегерана, куда женатые люди не заглядывают. В чем-то мне здорово повезло. Под видом важного московского финансиста я установил связи, нужные для группы Т[уманова]. От этих встреч с «нужными» людьми мне запомнились роскошные рестораны, обнаженные спины женщин, сверкание посуды в руках вышколенных официантов, надрывные возгласы джазов, а в глыбах тающего льда серебрилась наша каспийская икра и леденели бутылки с превосходным шампанским. Одному эмигранту, который сомневался, стоит ли ему связываться со мною, я сказал на ушко – как самое сокровенное:

– Не забывайте, что я лично знаком с Иосифом Виссарионовичем, и обязательно напомню ему о ваших заслугах...

Вскоре я был извещен, что нашей группе удалось перехватить секретный код, которым агентура абвера связывалась с фон Паленом, гитлеровским посланцем в Стамбуле; мы предотвратили серию взрывов и пожаров на нефтепромыслах Баку, которые были отлично спланированы во 2-м отделе абвера на Тирпицуфер в Берлине. Я был вполне доволен собой, но мое блаженство в Тегеране скоро закончилось... В один из дней, когда я подходил к банку, помахивая портфелем, возле меня резко затормозила легковая машина. Я не успел даже среагировать, как дверца ее распахнулась. Три выстрела в упор отбросили меня к стене здания, интуитивно я загородился от них портфелем.

Машина отъехала. Пули, пробив портфель, застряли в пачках газет; а одна засела во мне. Иосифу Виссарионовичу, когда меня внесли внутрь банка, я назвал телефон Т[уманова]:

– Скажите, чтобы Сергей Сергеевич приехал...

Меня поместили в английский госпиталь. Т[уманов] спросил:

– Вы запомнили лицо стрелявшего?

– Кажется, его лицо было русского типа.

– Лежите. Самолет в Москву будет вечером...

Итак, дело было сделано. Мы не смогли тогда выловить лишь двух матерых агентов абвера. Это был ээсовец Юлиус Шульце, замаскированный под видом муллы, которого укрывал в Исфагане главарь кашкайских племен, и прохлопали опытного резидента Майера, работавшего под самым нашим носом – могильщиком на армянском кладбище Тегерана. Обрато домой я летел уже над калмыцкими степями, и в районе Элисты по нашему «дугласу» во всю ивановскую жарили немецкие зенитки...

.....

Орден боевого Красного Знамени мне вручили уже в московском окружном госпитале. Оправлялся я с трудом, благодаря всевышнего именно за то, что надоумил меня таскать в своем дурацком портфеле совсем не нужные мне пачки

газет. Если бы не эти газеты, не видать бы мне ордена, как своих ушей...

Битва в Сталинграде была в самом разгаре, когда переполненный людьми поезд увозил меня в глубокий тыл – в самую глубь страны, где была очень трудная и голодная жизнь без тепла и уюта, с мучительным ожиданием весточек от мужей, с рыданиями женщин при вручении им похоронок. Всю дорогу я смотрел в окно, как ребенок, не раз готовый заплакать. В глубоких снегах стыли древние леса, картины русской провинции оживали передо мною в порушенных храмах без куполов, в запустении старых гостиных лабазов эпохи Екатерины Великой, в старинных зданиях губернских и уездных гимназий, где теперь разместились тыловые госпитали. Было морозное утро, кружился мягкий снежок, когда я сошел с поезда на перрон промерзшего вокзала древнего русского городка, тихо курившегося дымками печных труб. Здесь в годы войны – за очень высоким забором – располагалась школа для подготовки наших агентов и диверсантов, а я был назначен руководить этой школой... Мне выделили квартиру в городке; с утра до ночи для меня куховарила слезливая старуха Дарья Филимоновна, меня возлюбил ее кот Вася, и любовь кота бывала особенно пылкой в день получения мною генеральского пайка. Тут уж он не отходил от меня, издавая то нежное, то свирепое «мурлы-мурлы» с таким артистизмом, что надо иметь железное сердце, дабы устоять перед его желанием вкусить от моих благ.

Школа считалась интернациональной, в ее аудиториях слышалась речь поляков, чехов, болгар и немцев, в основном это была молодежь, и мне нравилось с нею общаться. Группы курсантов, уже готовые для работы в немецком тылу, я с офицерами школы всегда провожал на аэродроме, целуя каждого троекратно, и жалел каждого, как отец своих сыновей. Да простится мне эта сентиментальность: я ведь невольно вспоминал молодость...

В один из вечеров, томимый одиночеством и тоскою, я решил прогуляться по городу, занесенному снегом. Незаметно добрал и до станции. В зале ожидания возле холодной печки сидела изможденная женщина, вокруг шеи которой, словно веревочная петля, была обвита старая шкурка лисицы, когда-то, наверное, украшавшая эту даму. Возле нее сжались в комок две девочки. Вещей с ними не было, и поначалу я принял их за беженцев. Мне казалось, они так и останутся здесь, обреченные на тихое умирание. Что-то больно кольнуло мне в сердце.

– Куда вы едете? – спросил я женщину.

- Не знаю... мы теперь ничего не знаем.

- Билет у вас в какую сторону?

- Нет у нас билетов. Нет и никогда их не будет.

На меня с надеждой воззрились девочки. Чего они ждали от меня? Чудесной посадки на поезд? Или... куска хлеба?

- Продуктовые карточки у вас при себе? Тогда их можно отovarить, - подсказал я. - Утром, когда откроются магазины.

- Нет у нас карточек, - отвернулась женщина...

Руками без перчаток, посиневшими от стужи, она перебросила облезлый хвост лисы через плечо. Даже кокетливо!

- Кто вы и откуда? - спросил я.

- Мы... немцы, - услышал я. - Мы... высланы.

Не знаю почему, но в этот момент мне вспомнилось, что лучшая гроздь винограда всегда достается шакалу. Молча я вышел из зала ожидания. Постоял на перроне. Вернулся обратно.

- Но так же нельзя! - заговорил я. - Вы тут замерзнете... погибнете. Без билетов, без денег, без карточек.

- А кому нужны мы теперь? - спросила женщина.

- Мне! - выкрикнул я так, словно отдал приказ...

Я привел несчастных в свой дом, отпихнул кота:

- Иди к чертовой бабушке... Дарья Филимоновна, - велел я на кухне, - ставьте самовар да печи топите пожарче...

Я сам накрыл стол. Смотрел, как пугливо едят женщина и ее дети. Чувствовал, что они боятся уйти из моего дома.

– Вы останетесь здесь, – сказал я женщине. – Вы и ваши дочурки. Не волнуйтесь. Как-нибудь проживем...

...Боже, как поздно я обрел тихое семейное счастье!

1. «Цо то бендзе?..»

Французское правительство покинуло столицу, вот-вот готовую пасть, перебравшись в Бордо, отчего французы, не потеряв остроумия, называли министров «говядиной по-бордоски»; вслед за правительством панически спасались из Парижа и богатые люди, а французы спешно обновили текст «Марсельезы»:

К вокзалам, граждане!

Дружно штурмуем вагоны...

В утешение парижанам газеты публиковали карты Восточной Пруссии, на которых мощная стрела русского наступления врезалась графическим острием прямо в Берлин. Французы более рассчитывали на помощь далекой России, нежели от ближайшей Англии, дружно осмеивая британских солдат, которые на союзном фронте старались занимать вторую позицию, благородно уступая первую французам. Положение немецких солдат в битве на Марне было незавидное, и когда французские врачи наугад вскрыли несколько трупов, то в желудках обнаружили лишь красные комки кормовой свеклы. Кажется, немцы уже созрели для поражения, натошак атакуя французов. Шлифен, наверное, был гениальный стратег, но вершиной германской стратегии стала все-таки продуктовая карточка. За широкие планы Шлифена немцы расплачивались мизерным пайком маргарина, добавляя в хлеб целлюлозу. Но когда Мольтке снял с фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию, чтобы спешно перебросить их в Пруссию, положение французов на Марне резко улучшилось. Россия в эти дни была столь популярна, что французские патрули брали своим

паролем названия русских городов, и на выкрик «Москва» они отзывались именами Рязани и Калуги...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Очевидно, автор мемуаров был арестован вместе с А. Д. Лактионовым, командующим войсками Прибалтийского военного округа; тогда же была репрессирована большая группа военных, уцелевших после 1937 года. Часть из них – по решению Сталина – была возвращена, как маршал К. А. Мерецков, на свои посты, а другая часть вместе с их женами была расстреляна в октябре 1941 года.

2

Это странное прозвище имело простое объяснение: «желтая» – по цвету желтых казачьих лампасов, которые носил П. К. Ренненкампф на своих штанах, «опасность» – в память о 1905 годе, когда этот генерал жестоко подавил революционное движение в Сибири.

Купить: https://telnovel.me/ru/pikul_valentin/chest-imeyu-tom-2

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)